

18 Александр Якутский

Зовите меня Измаил

Рассказы и повести



Александр Якутский

Зовите меня Измаил.

Рассказы и повести

«Издательские решения»

Якутский А.

Зовите меня Измаил. Рассказы и повести / А. Якутский —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-988207-3

Под этой обложкой спрессованы огромные пространства. Суровая якутская тундра и давно не экзотические южные острова. Неведомая Кафельная пустыня и благословенный штат Гоа. Сюда поместилась даже иная Вселенная. Здесь живут дед с бабой и Платон с Сократом, девочка-будда и оранжевый пёс, Жанна д'Арк и тот самый Измаил. Герои мечтают любить, но лучше всего умеют предавать. Они заглядывают нам в глаза, им больно и страшно. Мы готовы взять их за руку и вывести на правильный путь? Мы в этом уверены? Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-988207-3

© Якутский А.
© Издательские решения

Содержание

Сто пятьдесят слов к читателю	6
Повести и рассказы	7
1. Сказки для всей семьи	8
Дедова коса ¹	8
Илюхина свадьба	11
2. На пороге	14
Женщина-жираф ²	14
Комедианты	19
15 сентября, воскресенье	20
20 сентября, пятница	20
8 октября, вторник	20
18 октября, пятница	22
23 октября, среда	22
1 ноября, пятница	23
20 ноября, среда	23
21 ноября, четверг	24
10 декабря, вторник	24
22 марта, суббота	25
24 марта, понедельник	28
26 марта, среда	29
31 марта, понедельник	29
31 марта, понедельник, позже	30
Ронин ³	31
Не моя смена	36
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Зовите меня Измаил

Рассказы и повести

Александр Якутский

© Александр Якутский, 2020

ISBN 978-5-4498-8207-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Сто пятьдесят слов к читателю

Пожалуйста, будем на ты?

Мне повезло неоднократно слышать, что мои рассказы – интересные, но непонятные. А интересное и одновременно непонятное – это то, что я всегда хотел делать в литературе. Так что я счастливчик.

Первая мечта любого автора – чтобы прочли. Вторая – не остановиться, продолжить писать. Главная же моя мечта: чтобы перечитали.

Если рассказ захватил внимание, заставил улыбнуться или заплакать в конце – я счастлив вместе с тобой. Если же кроме эмоций остались вопросы: «Почему так странно? Чего я не увидел?» – есть надежда, что ты вернёшься в поисках ответов. А они там есть, поверь.

Видишь, как выглядят сто пятьдесят слов? В этой книге их десятки тысяч. Каждый рассказ писался долго, редактировался бессчётно. Я верю: ни одно слово (особенно эпиграфы!) не попало сюда просто так.

И пожалуйста, не читай один рассказ за другим. Делай перерывы. На сон, на секс, на обед, на кофе с сигаретой... Не спеши, ладно?

Доброй охоты!

Повести и рассказы

Константин Случевский

«Ты не гонись за рифмой своенравной...»

<...>

Но это вздор, обманное созданье!
Слова – не плоть... Из рифм одежд не ткать!
Слова бессильны дать существованье,
Как нет в них также сил на то, чтоб убивать...

<...>

Смерть песне, смерть! Пускай не существует!..
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..
А Ярославна всё-таки тоскует
В урочный час на каменной стене...

1898г.

1. Сказки для всей семьи

Дедова коса¹

Жили-были дед да баба. Долго жили, а сколько точно – только баба знала. Проснётся дед, сядет у порога, глядя на звёзды, а баба станет ему волосы расчёсывать. Сначала поделит на четыре времени года, а потом вместе сплетает в толстую тугую косу. Вот сколько звеньев в косе получилось, столько лет они и прожили.

Возьмёт дед заплетённую косу, поднесёт кисточку к носу и обнюхает внимательно. Нет, ни один волос пока ещё свой край не нашёл, конец не узнал.

– Значит, пора дальше жить, – усмехнётся дед и придумает загадку.

Поднимется на пригорок за околицей и запоёт свою загадку. Заканчивает петь, глаза жмурит и чувствует, как солнышко из-за окоёма показалось, по зажмуренным векам его пальцами своими постукивает, тёплыми да ласковыми:

– Вот уж и я. Не могу разгадать загадку твою!

Дед тогда и разгадку споёт, танцуя на пригорке с солнышком в обнимку.

Правда, бывает, что солнце встаёт обиженное, тучами прикрывает лицо хмурое:

– Совсем загадка простая сегодня, дед! Разленился ты что-то.

Дед и тут знает, что делать: поёт дразнилки, а сам к огороду топаёт. Солнце – за ним, тучку перед собой гоня. Вроде сердится, а само уже от смеха спрятанного подрагивает. Наконец, не выдерживает, прыскает дождиком на дедов огород. А деду того и надобно: расти, репка!

В ту пору баба слышит – рябая заклохтала-заклохтала... Спешит баба к ней за яичком, вновь снесённым. И пока дед с солнцем выплясывает, да в салочки играет, идёт баба к горячему ручью, окунает туда яичко и ждёт, пока ива дюжину раз головой качнёт.

– Готово дело! – кличет баба деда.

Расстилают по траве рушник, баба чистит яичко варёное и пополам разламывает. Левую половину себе берёт, а правую – всегда деду протягивает:

– Тебе пожирнее, старый, а мне уж попостнее.

Так и пообедают. А потом домой идут, прихватив с огорода немного от урожая, себе да рябой на ужин. Морковку, да редьку, да огурчик, да подсолнуха колесо.

Баба ещё всегда мышке застенной от добычи отсыплет. Дед хмурится, бурчит на бабкино баловство, но не вправду, а так, для порядку: ишь, мол, каких глупостей бабы навидумывают! Побурчит, поужинают, глядь – а солнышко и закатилось. Пора дедову косу расплести...

Когда-то их дни капали один за другим. Так что могли они сидеть вечером плечом в плечо, и вспоминать каждую упавшую каплю, запах её и цвет. И гадать – сколько же ещё осталось?

Теперь не то что дни – годы лились ручьем шумным, и ничего уже в этом шуме разобрать было нельзя. И не хотелось.

Как-то раз случился в их краях этнограф. Очень интересовался, что за песни дед поёт каждое утро. Дело к ночи, солнце уж спряталось, пригласили нежданного гостя в избу. За стол усадили, морс да свёкла. Достал этнограф свой диктофон, кнопку нажал полированным ногтем и слушает, вместе с диктофоном, что дед вполголоса напевает. Вполголоса – это чтобы солнышко не услышало, да не проснулось раньше времени.

¹ Впервые опубликовано в журнале «День и ночь» (№1, 2020)

Баба сидит в сторонке, смотрит и диву даётся. В жизни раньше не видала прямых линий или, скажем, кругов ровных. А тут – куда ни глянь. Диктофон весь ровненький, циферблат на этнографической руке – кругленький, буквы да картинки на балахоне его потешном – словом не описать. Очки тоже интересные. Вроде бы прозрачные, но глаза сквозь них невзаправдашние: смотрят в лицо, а заглядывают в душу.

Вдруг баба спохватилась:

– Батюшки, да дело-то к утру уж повернулось, а старый не ложился! Как же он завтра солнце будить станет?

Этнограф покраснел густо, заизвинялся, да за шапку. На ночлег остаться не уговорили – ушёл в ночь. А уходя шепнул бабе:

– Вы деда не будите. Пусть поспит. Солнце и без его песен взойдёт, вот увидите.

Баба оторопела, ничего возразить не смогла. Покачала только головой, поудивлялась чужому вранью, расплела дедову косу, да и почивать. Только сон к ней не шёл. Ворочалась, вспоминала странного человека и странные его слова. Волосы короткие, в косу не заплесть, а туда же, поучает... «А что, если и впрямь?..» – подумалось вдруг бабе, да с этой мыслью и уснула.

Проснулась от квохтания рябой. Разлепила веки и обмерла: солнце гуляло по небосводу, не дождавшись дедовой песни. Старый спал, как заговорённый. Ни солнце в окне, ни рябая, ни бабкины копошения его не разбудили. Вскочила баба и не чуя ног под собой, побежала в стайку, к рябой. Несушка сидела себе как ни в чём не бывало. А рядом с ней лежало только что снесённое яйцо. Яйцо было очень красивым, золотым. Оно матово поблёскивало в солнечных лучах и не грело рук. Баба схватила яйцо и побежала к горячему ручью.

– Хоть что-то по закону сделаю! Глядишь, и уйдёт морок, – не помня себя, бормотала баба.

Прибежала к ручью, бросила в него яйцо. Бросила даже со злобой, какой раньше не знала. Пять дюжин раз качала ива головой, а баба всё не решалась яйцо вынуть. Наконец, перемогла свою боязнь, вытащила яйцо из горячей воды, взяла в руки. А оно – холодное, как и было...

Когда баба вернулась к избе, дед сидел у порога, недоумённо перебирал незаплетённые волосы и не мигая смотрел прямо в солнце, которое не хотело его замечать и даже не высекло ни слезинки из глаз.

Баба дрожа от ужаса протянула к старому ладони с холодно поблескивающей красотой на них. Молчала и ждала.

– Беда, баба. Коли не разбить это – рябая нового нести не станет. Потому что – зачем?

И стали они бить по яйцу. И кулаком, и топором, и молотом, и наковальней. И песни дед пел, чтобы гром позвать, и загадку для молнии выдумал. Да солнцу с тучами хоть бы что, не слушают, не помогают! Ползёт солнце по небу, с восхода на закат, и не обернётся, будто не было деда с бабой никогда.

Сели оба, пригорюнились, на яйцо проклятое смотреть бояться. Вдруг – пи-пи-пи, хвостатая. Подразжирела с бабких подношений, а поди ж ты – юркая! Как не видя яйца, мимо него – шнырь! Только хвостиком еле заметно дотронулась.

И как только коснулась она яичка, то закурилось естественно сумасшедшим манером, взвилось в воздух на аршин, да об камешек – хрясь с разбегу. Только искры! Было яйцо ровное да гладкое, а осталась чепуха – скорлупки золотые, да камешки какие-то блескучие, что под скорлупой, видать, прятались. Рассыпались камешки по двору, сверкают красотой, пустотой да глупостью – это солнышко над ними насмехается.

Баба слезами счастливыми залилась, мышку благодарит да целует. И дед глаза промокнул рукавом, но молча сидит, насупился.

Тут рябая голос подала. И говорила она деду с бабой так:

– Не плачь, дед! Не плачь, баба! Много звеньев в косе дедовой, а всё осталась у меня для вас наука. Потребуете – сей же час и обрящете. А покамест получайте от меня яйцо. Не золотое, простое. Солнце на закат, а вы до се не обедали. Смотрите мне! Добалуетесь опять!

Баба вскочила на ноги, руками замахала, запричитала:

– Да что ты, милая! Да что ты, красавица! Да разве ж мы ещё хоть когда!..

– А ну цыц! Обе! – вдруг рявкнул дед. – Раскудахтались тут на пару, крыльями размахались, неровён час взлетите, лови вас потом. Ты вот что, баба... Ты скажи-ка мне, где серп наш?

– Как где? Да в сараюшке, где б ему ещё быть? – пролепетала баба, вглядываясь в дедово лицо.

– То-то же, что в сараюшке, – буркнул дед, опять глядя на солнце.

Оно и впрямь катилось к закату. Вот-вот нырнёт за окоём, так и не взглянув на деда. Уж и покраснело. «Это оно от досады» – догадался дед. Кряхтя поднялся на ноги и потопал в сараюшку. Отыскал серп, взял его в правую руку. Левой ухватил свои незаплетённые волосы, крепко намотал их на кулак так, что кулак упёрся в самый затылок. Солнце метнуло в дверь сарая последний лучик, тихо звякнувший о серп в дедовой руке, и спряталось.

– Ну, ничего, – прошептал дед, – завтра новый день. Коль не нами заведено, то не нам и сломать.

Он занёс правую руку с серпом за затылок и мягким полукругом слева направо и снизу вверх прошёлся по волосам, как баба делала, лён убирая. Упали прожитые годы на земляной пол. Стало тихо-тихо. «Отшумели», – с ласковой печалью подумалось деду.

У порога – шорох. Баба.

– Да так ли, дед? – спрашивает, головой качая.

– Так, старая, так... Не сомневайся.

– Ну, и славно.

С этими словами баба вошла к деду в сарай, а проходя мимо срезанных волос, кинула что-то в них украдкой, как в костёр.

Мимо в тот час по своим ночным делам брела луна. Задумалась, под ноги не смотрит, как раз в ивовых ветвях и запуталась, да не вдруг выбралась, как пьяная. Оглянулась воровато: не заметил ли кто сраму? И видит: нет никого, только стоит сарай, у порога лежит себе на земляном полу небольшая копёнка, то ли льна, то ли овса. А может, дедов невод? Да может, и коса. А поверх набросано... что ли светляки? Иль Божья роса? Да может, и слеза...

Кто ж теперь разберёт? Некому.

Илюхина свадьба

В каждой деревне есть свой дурачок, и наша – не хуже других. Наш Илюха невысок, да плотно сбит. Голова коротко стриженная, в кружок, как каторжная. Глядит всегда исподлобья, хмуро. Однако при его жизни по-другому смотреть и не станешь. Слаще пареной репы в жизни не видал ничего.

От детей ему сильно достаётся. Носятся за ним, орут, улюлюкают. Кто посмелее – пнуть норовит. Он от них убежать пытается, да где там! Прижмётся тогда спиной к забору, кулаками лицо прикроет и хнычет.

– Колька, Никитка! Вы какого рожна опять Илюху шпыняете?! Вот он сейчас кому-нибудь на одну ногу наступит, за другую дёрнет...

Дети отшатываются. Никто из них не сомневается, что Илюха может такой финт выкинуть. Силища у него необыкновенная. Этой силой и живёт. Всякая хозяйка всегда для него работу найдёт, потяжелее. Работает без передыху, как заведённый. Но аккуратно, не торопясь. Сладит всё лучше любого другого местного мужика. Ну и покормят, конечно, работника. Как божьего-то человека и не покормить? А когда его одежонка истреплется, так из своего что-нибудь отдадут. Ношеное, зато добротное. Да большего ему и не надо, убогому.

Дети, вспомнив, что Илюха при всей своей силе в жизни мухи не обидел, вздумали теперь камнями в него покидаться.

– Ну, чего опять полезли? Сама сейчас хворостиной вытяну, охломоины!

Разбежались. Илюха побрёл дальше, в свою хибарку на окраине. Вдруг лицо его светлеет: Марьяну увидал. Марьяна – единственный человек, который его радует. Потому что была одна история. У нас все её помнят, хоть дело и давнее. Ну, и вам расскажу.

Как-то по зиме пошла Марьяна на прорубь, бельё матери отнести на полоскание. Отнесла, а только в обратный путь тронулась – в полынью угодила, снегом припорошенную. Вот шла, а вот её как и не было. Бабы у проруби заголосили, кинулись к полынье, мечутся вокруг – да что уж там! Хотели уж мать успокаивать, мол, Бог дал, Бог взял...

Но тут Илюха случился. Подбежал к полынье, сунулся в неё, да узковата. Он тогда заорал по звериному и начал кулаками садить по краям, пока не разбил пошире. Полез в воду, достал. Вовремя.

Долго Марьяна болела потом, от жизни к смерти металась. Но сдюжила, хоть и мала была: шёл ей только двенадцатый год. Когда оклемалась – уж весна на лето повернула. Вышла она на улицу и сразу отправилась Илюху искать. Нашла его угрюмо жующим краюху хлеба, обедал. Подошла и, не говоря ни слова, по щеке погладила. Илюха аж засиял весь, залопотал что-то, руку к ней протянул. Да тут она испугалась, отшатнулась и убежала домой.

Исцелению Марьяны радовались, конечно, всей деревней. А родители и вовсе головы потеряли от радости, баловать её начали безмерно. Повезли в город на ярмарку. Выбирай, мол, доченька, себе подарки, какие только пожелаются. Думали, ленточек там всяких, игрушек каких... Да хоть сладостей: пусть потешится дитя, почитай, воскресшее. Ан нет. Марьяна увидала у какого-то купца книжку: её хочу.

– Да на что она тебе, доченька! Вещь бесполезная совсем. Вон, даже ни единой картинки нет, всё только буквы-закорючки.

Но Марьяна на своём стоит. Голову наклонила, как телок упрямый, губки поджала, в глазах слёзы:

– Её хочу, не нужны мне ваши ленты-пряники!

Тут отец рукой махнул. Обещались ведь подарить, что захочет. Дороговат подарок вышел, но разве это дело – деньги для спасённой дочери жалеть? Буквы она знает – дьячок

наш обучил. Ну вот пусть и складывает, коли так хочется дитю ненаглядному. Сторговали, одним словом.

С того дня Марьяна с книжкой своей не расставалась. Соседские дети набежали было на диковину посмотреть. Да ничего интересного в ней не нашли: буквы и буквы. Разбежались по своим ребятишкиным делам. А Марьяна разузнала, на кого Илюха сегодня работает, отправилась перед закатом к нему.

Сидит Илюха на завалинке, огурцом хрумкает, варёную картошку жуёт: вечеряет. Увидал Марьяну, загукал радостно, как младенец. Марьяна рядом с ним села, раскрыла книжку, уткнула в неё пальчик и давай по строчкам водить:

– В не-ки-им цар-с-тве, в не-ки-им го-су-дар-с-тве жил-был бо-га-тый ку-пец, и-ме-ни-тый че-ло-век.

Илюха голову склонил, слушает, жевать и дышать забыл. Понимает ли что? Кто его знает, убогого. А только улыбается. Хорошо ему, видать, покойно. Марьянкин голос журчит, уходящее солнышко по лицу гладит ласково, тело, работой избитое, ноет немножко, но это значит: живой ещё. Как тут не зарадуешься?

– Вот ез-дит чест-ной ку-пец по чу-жим сто-ро-нам за-мор-с-ким, по ко-ро-лев-с-твам не-ви-дан-ным...

Так у них и повелось. В обед ли, к вечеру ли – приходила Марьяна к Илюхе и читала свою книжку. Сначала медленно, неумело, потом всё бойчее, бойчее. А потом уж и перестала в книжку заглядывать. Так рассказывала, по памяти. И всё с новыми подробностями. Илюха всегда слушал, не произнося ни звука, только улыбался.

– А что, – скажет Марьяна, в сотый раз рассказав свою историю. – Хорошо бы, Илюха, сесть на такой корабль, да по королевствам невиданным пошастать! Хорошо бы, а?

– Ы, – кивает Илюха, – ы-ы-ы...

Посидят немного, на закат глядячи, да по домам.

А бабы наши, чего им по вечерам делать? Подсолнухи лузгать да зубоскалить, лучше и не придумаешь.

– Что, невестой твоей теперь будет Марьянка-то? Да, Илюха? – гундят, перемигиваясь.

Илюха радостно гукает, кивает башкой. Они и дальше подзуживают:

– Будем, будем свадьбу играть.

Илюха щерится в ухмылке, но в глазах мелькает тревога. А бабы продолжают:

– Только ты, Илюха, мужик незавидный. Вон, от штанов, почитай, одна мотня осталась. Нет, не пойдёт за тебя. – И ржут, кобылы жеребые. Не со зла, а так, вечер скоротать.

Ухмылка сбегает с лица дурачка, он мрачнеет пуще прежнего, уходит в свою хибару.

Но на другой день, завидев Марьяну где бы то ни было, он опять улыбался и протягивал руки. Она убегала, иногда хохоча.

Только не сегодня. Сегодня она заорала, зло выпучив глаза и даже оскалив зубы:

– Ну что ты, дурачина, шатаешься за мной?! Чего тебе от меня надо? Уйди с глаз моих, чтоб не видела, стоеросина! Сгинь! – и в слезах умчалась прочь.

Илюха окаменел. Стиснул зубы до скрипа, до крошения. Сжал кулаки, повернулся и побрёл из деревни прочь. Далеко ли? Бог весть. Никто с тех пор его не видал.

А месяца через четыре, откопав картовь, играли Марьянкину свадьбу с зажиточным хозяином из соседнего уезда. Был он уже немолод, вдов, но это дело второе. По всему – крепкий мужик, даст жизни молодой жене. Про «любит, не любит» и прочие ромашки разговора не было. Не для того мы свадьбы играем. Марьяна, понятно, не весела, но это дело поправимое. Жизнь и поправит, и стерпит, и слюбит.

Вот приехал жених невесту из отчего дома забирать. Всё честь по чести, вся деревня собралась. Ну, выкупил, как полагается, вывели красавицу. На ней лица нет, в землю смотрит,

глаз не поднимает. Староста тогда, как водится, чарку полведёрную налил, добрых слов наговорил. Хорошо говорил, прослезил многих.

Вдруг зашептались в народе: «Илюха, Илюха!». И точно, вот он, стоит посторонь, нахотился. Волосы отросли, борода хилая. Поистрепался, исхудал очень, но так, что силища его только пуще прежнего наружу выглянула. А в руках у него, глянь-ко: кораблик! Небольшой, в пол-локтя, а мастеровито исполнен! И паруса, и флажки, мачточки да реечки. Как настоящее всё! Даже пушечка вон виднеется, заряжай да пали, чего там! Красота, одним словом. Ребятня так к Илюхе и слетелась воробьями, на чудо любоваться. Забыли, чертенята голожопые, как камнями в него, убогого... В глаза заглядывают, за штанину теребят: «Дядь Илья, дай подержать! Дядь Илья, ну дай...»

А Илья как и не слышит их, смотрит пристально на то, что у крыльца сотворяется. Хмурится, мычит тихонько, понять пытается.

Тут как раз время жениху впервой невесту целовать. Сказал жених ответные добрые слова. И старосте, и родителям. Тоже хорошо сказал, горько всем стало. Ну, он к невесте повернулся, взял за плечи. И вовремя – та на ногах еле стоит, через силу держится. Потянулся к ней жених губами.

Вдруг – что за притча?! Илюха кораблик свой Никитке в руки сунул, с места срывается, и – к молодым. Заорал, как тогда на полынь, по звериному, да кулачище свой на голову жениху и положил с размаху. Тот грянулся оземь без памяти, а Марьяна рядом с ним повалиться хотела от неожиданного страха. Но не успела: подхватил её на руки Илюха и понёс со двора.

Прижал к себе, как дети кукол любимых прижимают, несёт и глаз с неё не сводит. И Марьяна на него смотрит, пристально так. И слышит как там, за илюхиной спиной зашипели-загундели бабы. Потом заколготились мужики, заворчали, звякнули пару раз, кто вилами, кто – топором, матюгнулись с придыхом и потопали им вслед, всё прибавляя шаг.

– Глупый ты, Илюха. Даром, что дурак, – сказала Марьяна грустно.

А потом улыбнулась, руку протянула и погладила по щеке. Как тогда.

Взорвалось что-то тёплое в груди у Илюхи, брызнуло из глаз и весь мир вокруг высветило ласковым светом. Засмеялся он, широко и радостно захохотал, запрокинув голову. Как не смеялся никогда прежде, как теперь смеяться будет до конца жизни. И никогда уже любимой своей невесты из рук не выпустит. Пока будет жив.

2. На пороге

Женщина-жираф²

С самого утра Санёк жил с ощущением близкой беды. За что бы он ни взялся – ноющая тоска его не покидала. Мама с утра затеяла копошение на кухне да перед зеркалом, и чуть ли не силком выставила Санька гулять.

А с кем гулять? Руся на целый месяц укатил с родителями на Азовское море. Лёха вон со своими на дачу едет, как всегда в выходные. Да и вообще, у Санька были совсем другие планы: посидеть дома, помечтать. Но разве этим взрослым объяснишь... Они всегда лучше знают, что тебе нужно и полезно.

От этих грустных размышлений его оторвал Кит, появившийся во дворе со своим отцом.
– Санёк, иди сюда, чего покажу!

Санёк подошёл к ним, все вместе сели на лавочку у подъезда и Кит начал хвастаться своими марками. Они только что ходили с отцом в «Союзпечать» и пополнили китовскую коллекцию.

Да, похвастаться Киту было чем: альбом на двадцать листов уже заполнен классными марочками больше, чем наполовину! Сначала – портреты разных знаменитых деятелей, не очень интересные. Потом серии: автомобили, танки, паровозы. От древних до современных. Закачаешься! Потом в альбоме шли всякие бабочки-цветочки. Красивые, интересные, но никак не получалось представить их живыми. Так и оставались красочными картинками на зубчатой бумаге.

Наконец, Кит добрался до главного – в конце коллекции у него хранились марки иностранные.

– Смотри, эту сегодня с батей купили!

Кит ткнул пальцем в новую красную марочку с портретом длинноволосого небритого мужика в берете и сказал:

– Сива... Правда же, батя?

– Ага, – подтвердил дядя Лёня, – она самая.

Он смотрел совсем не на марки, а на тонкую струйку дыма, поднимавшегося от сигареты без фильтра, которую он прятал в кулаке, как-будто боялся, что его застукают и отругают за курево.

Санёк удивлённо зыркнул на дядю Лёню. Чего это он? Не знает, что ли, что это – Куба? Коммунизм У Берегов Америки! Но спросить дядю Лёню ни о чём не успел. Тот докурил, сплюнул под ноги, встал с лавочки, взял Кита за руку и повёл его домой. Через пять минут дядя Лёня вышел один и отправился к себе, он жил совсем неподалёку.

Санёк тоже пошёл домой. Мама по-прежнему хлопотала по кухонно-гримёрной части, так что Санёк незамеченным пробрался в свою комнату. Он завалился на кровать, уставился в потолок и размышлял, как станет филателистом и соберёт такую коллекцию, что Киту останется только присвистнуть пристыженно. И когда он опять брякнет про «Сиву», Санёк спокойно его поправит.

Он объяснит, что кубинцы хоть своих букв и не придумали, но русскими почему-то не пользуются, а пользуются латинскими, которые читаются вот так... Кит будет понимающе кивать, да и дядя Лёня послушает с интересом. А потом скажет Киту:

² Опубликовано в сборнике рассказов «Ковчег» (М.: ИД «Городец», 2019)

– Видишь, как надо марками заниматься? Серьёзно, до самой сути доходить. Учись у Санька, хоть он и младше тебя на целых полтора года...

И пожмёт Саньку руку с уважением.

Правда, тут же мечты эти растаяли, превратившись в досадную горечь. Потому что Санёк вспомнил: ничего этого не будет ещё очень долго. Он пытался заводить с мамой разговор о марках, но она всегда качала головой и говорила:

– Ой нет, Санёк, только не сейчас, ладно? Мне надо тебе ещё кой-чего к школе прикупить. Третий класс всё-таки...

Ну, всё в таком вот духе. И Санёк прекращал свои разговоры. Потому что знал: если продолжить канючить, это обязательно закончится мамиными слезами.

– Эх! – горько вздохнул Санёк и уставился в потолок, стараясь не думать вообще ни о чём.

И вот тут в дверь позвонили. Услышав этот звук, Санёк понял: вот она. Беда. Всё-таки пришла. Интуиция его никогда не подводила.

– Сынок, открой, – попросила мама из кухни.

Он поёжился: шестое чувство – главное из всех. Но не рассказывать же маме о своём страхе, к тому же никак не объяснимом на словах. Решительно слез с кровати:

– Ага, мам, сейчас открою!

Подошёл к двери, прислушался и почувствовал, что звонок вот-вот опять затренькает. Он повернул ручку и распахнул дверь, изо всех сил стараясь не зажмуриться. И обомлел.

На пороге не было беды. На пороге стоял человек из кино и книжек. На пороге стоял капитан дальнего плавания, в чёрном кителе и в такой же чёрной фуражке с огромным золотым якорем на кокарде! Да что там – у него была настоящая борода морского волка. Нет, не кудлатая пиратская, и не бродяжья щетина, как у того мужика на кубинской марке, а аккуратно подстриженная ровная чёрная борода на умопомрачительно смуглом лице.

– Александр? – спокойно осведомился чудесный незнакомец.

Санёк громко сглотнул и кивнул. Он понимал, что стоит и неприлично пялится на незнакомого человека. Но он совершенно не знал, что ему делать дальше.

Вдруг мимо него с визгом промчалась мама, чуть не сбив с ног. Она выскочила за дверь и бросилась незнакомцу на шею:

– Юрка, Юрка! – вопила она, – Приехал всё-таки, а я уж и не ждала!

«Как же, не ждала», – озадаченно поймал Санёк маму на мелкой лжи. По всему выходило, что интуиция Санька подвела, чуть ли не впервые в жизни. Ожидание беды обращалось в какой-то невероятный, совсем неожиданный праздник!

А мама наконец опомнилась, слегка смущённо отстранилась от «Юрки», взяла его за руку и втащила в квартиру:

– Заходи, заходи, что мы тут на пороге будем. А где вещи твои? Чемоданчик один? Налегке? Ну, здорово! Надолго в наши края?! Заходи, заходи.

«Юрка» спокойно и широко улыбался, входя в квартиру, а потом чуть отстранил маму, протянул руку Саньку и сказал:

– Можно, я буду тебя Саньком называть? А ты меня за это зови Юрой. И на ты. Идёт?

– Идёт... Меня все друзья Саньком называют, – пробормотал счастливый Санёк. Потом виновато добавил: – ...и мама... тоже... Саньком...

– Ну что ты выдумываешь, Юр!? – вскинулась мама. – Как это? По имени-отчеству пускай. Ну или хоть дядей Юрой. Что за панибратство, честное слово?

Но Юра чуть поднял руку, выставив ладонь, будто собирался остановить пацана, чересчур разогнавшегося на велосипеде, и сказал удивительное:

– Лара, мы же два мужика. Давай мы сами решим, как нам друг с другом общаться. Так правильно будет. Вот увидишь.

И мама опустила глаза и удалилась в кухню, приказав через плечо каким-то совсем не командирским голосом:

– Тогда руки мыть и – к столу. Мужики...

Юра подмигнул Саньку, наклонился и прошептал ему на ухо:

– Главное – последнее слово всегда женщине оставь. Ей это понравится, а от тебя не убудет.

Санёк ничего не понял, но вид принял максимально понимающий и мастерски подмигнул Юре в ответ.

Юра помывкой рук не ограничился, а оккупировал ванную на целых двадцать минут: «Надо с дороги». Всё это время Санёк сидел в прихожей на пуфике, как будто боялся, что Юра потихоньку улизнёт из ванной и шмыгнёт вон из квартиры – поминай, как звали.

Санёк размышлял о неожиданном счастье, свалившемся ему на голову. Надо было воспользоваться им по полной. Например, совершенно необходимо выйти с Юрой во двор. Чтобы он был в своей капитанской форме. И чтобы пацаны все сидели на лавочке. И мы пойдём мимо, в сторону хлебного, а я скажу:

– Юра, это – мои друзья, познакомься.

Но домечтать кульминацию Санёк не успел. Юра вышел из ванной уже совсем праздничный и пахнувший одеколоном. Отправились на кухню, долго ахали и охали, цокали языками и качали головами. Их ждал настоящий пир. Стол был плотно уставлен блюдами и тарелками. Икра из синеньких, зразы, мильон салатов, а также тоненько нарезанный голландский и любимая ветчина по три шестьдесят.

– Ты что ли всех бывших одноклассников в гости ждёшь, Лара, не меня одного?

– Да ладно тебе, – засмущалась мама, – давайте уже, садитесь. Голодные же все.

И сели, и начали жадно есть, и болтать, и Юра рассказывал удивительные вещи. Он, оказывается, только что вернулся из далёкой-далёкой Азии. И катался он там не только на слонах, но и на черепахах размером с этот стол. И ел черепаховый суп, а ещё жареную крокодилятину и тушёных лягушек. А в суп там бросают столько жгучего перца и прочих пряностей, что съешь одну ложку – а пота на литр потеряешь. И про ловцов жемчуга, и про рощи уродливых гевей, с которых до сих пор собирают капли драгоценного каучука. И про рисовые террасы в горах, и как на них по колено в воде копошатся люди-муравьи в соломенных шляпах конусом. А у них между ног снуют маленькие рыбки-меченосцы, совсем как у соседского Лёхи в аквариуме. И про сороконожек в руку толщиной, и про медуз, что могут зажалить до смерти.

Санёк слушал его и удивлялся. Сколько бы Санёк не смотрел на черепах на марках или даже по телевизору, он никогда не мог представить их живыми. Юра всего лишь рассказывает, слова говорит, даже не рисует ничего. А Санёк видит и черепаху, и как она голову из воды вытягивает и водоросли с руки ест. Так ясно видит, как будто сам её кормит прямо сейчас...

– А что тебе там показалось самым удивительным? – спросила мама.

– Да там всё – «самое». Удивительное, странное, ненастоящее, волшебное и страшное. Вот, например, падонги. Это такой народ, небольшой совсем. Живут в горах, рис выращивают. В общем-то, совсем обычные. Но своих женщин они превращают в жирафов. Пятилетним девочкам надевают на шею кольцо. Потом ещё одно, ещё. Колец всё больше и больше, шея вытягивается, вытягивается. Ну вот, смотрите.

И Юра потянулся к снятому на время обеда кителю и достал из нагрудного кармана бумажник. Из крокодиловой кожи, с тысячей кармашков и отделений. Покопался немного и выложил на стол... марку! Большую, как спичечный коробок, с какими-то червячками вместо букв. А изображена на марке – женщина. Женщина-жираф с золотыми кольцами на шее. И так много этих толстых колец, что шея в два раза длиннее, чем ей полагается. Женщина немолодая, вокруг чёрных узких глаз – сеточка глубоких морщин. Но она красивая. И улыбается. Едва заметно, но не печально, а как-то уверенно и мягко, будто Санька успокаивает.

– Видите, какая красotka! Все женщины у них такие. И говорят, что за любой проступок для женщины у этого народа есть только одно наказание – убрать кольца. И тогда шея не выдержит тяжести головы и просто сломается с непривычки, как стебелёк.

– Ужас какой! – выдохнула мама.

И говорила что-то ещё, но Санёк не слушал. Ни её, ни Юру. Он смотрел в эти глаза, на эти кольца, на цветастый головной убор, на загадочную улыбку. Он вдруг почувствовал, какой огромный мир его окружает. Никакие изображения на марках: ни скатов, ни вулканов, ни парусников, ни даже «Союза-Аполлона» почему-то не дали ему этого понимания. А теперь он физически ощутил эту мощь, загадочность и открытость. Огромный мир сейчас улыбался ему с небольшого бумажного прямоугольника. Улыбался мягко и дружелюбно: да, я бесконечный и непонятный, но прекрасный и вовсе не злой. Расти и спрашивай, я отвечу на все твои вопросы и покажу все сто тысяч чудес.

Это нужно было хорошенько обдумать, обмечтать. Санёк вернул марку Юре и ушёл из-за стола, оставив их бубнить на кухне о своих взрослых делах. В своей комнате он попытался было нарисовать женщину-жирфа цветными карандашами в тетради в клеточку, но ничего не вышло. Тогда он опять завалился на кровать и уставился в потолок. Санёк лежал и думал о том, что женщины-жирфы никогда не совершают никаких проступков. Потому что ничего на свете не может стоять такого наказания – шеи, сломанной, как стебелёк.

Засыпая, он услышал, как мама спрашивает:

– Ну что ты, когда?

– Завтра в 11:30 поезд. Проводите?

«Так нечестно!» – хотел громко крикнуть Санёк, но не смог. Женщина-жирф взяла его за руку, а второй рукой обвела вокруг: смотри. И столько вокруг было чудес, что не успел он их все хорошенько рассмотреть до самого утра.

Проснувшись, Санёк выскочил из кровати, как никогда до того не выскакивал. Спросонья ему показалось, что в доме стоит гробовая тишина. «Уехали, без меня!» – ужаснулся он. Выбежал в коридор, взглянул на часы. Только ещё пол-девятого! И тут же услышал, что на кухне чем-то позвякивает мама, а Юра опять оккупировал ванную, и значит, всё нормально. Ни хорошо, ни плохо, а так, как должно быть в этой дурацкой взрослой жизни, о которой так часто говорит ему мама, когда воспитывает.

Санёк повернулся, чтобы пройти на кухню и вдруг заметил на пуфике в прихожей юрин бумажник. Он почувствовал, что больше не решает ничего. Что кто-то за него уже всё решил. Давным-давно, когда прозвенел этот звонок в дверь. Опять мурашки по коже и тянущий холод в животе. Беда, беда, всё-таки беда! Но он уже ничего не мог сделать. Он мог только подойти к пуфику, взять в руки бумажник, быстро найти нужную застёжку, выудить марку, вложенную в прозрачный пакетик для сохранности. Сжав хрустнувший пакетик в кулаке, Санёк положил бумажник на место и кинулся в свою комнату. Прыгнув в кровать, он засунул кулак с маркой под подушку и лежал, унимая сердце, бушующее в каждой его клеточке.

Мама зашла минут через пятнадцать.

– Вставай, Санёк. Пора. Давай чайку попьём и поедем Юру провожать.

Санёк повернулся и посмотрел на маму. В глазах стояли слёзы и хотелось крикнуть, только он не знал, что и кому теперь нужно кричать.

– Сынок, ну что ты?! Юре надо уехать. Правда, надо. Но он обещал приезжать. Иногда. Он придет, вот увидишь... И опять нам что-нибудь расскажет, интересное.

«Мама, ты ничего, ничего не понимаешь. Не сможешь понять, не сможешь поверить!» Но вместо этого, сухим хриплым голосом:

– Да, мамуля, конечно. Я уже встаю.

Был чай, и были Юрины рассказы, и Санёк не понимал их смысла, но умел смеяться в нужных местах, а сам думал, что ну и что, ничего, он себе ещё такую достанет, а у меня

теперь настоящая коллекция будет, и Кит с пацанами обзавидуются, Юра бы понял, если бы узнал, но он ведь не узнает, никто ему не скажет, а потом троллейбус долго тащился через весь город и где-то на дамбе Юра сказал маме:

– Лара, всего на три месяца. А потом – всё, хватит. Сразу к вам вернусь и тогда уже всё сделаем, что положено.

Мама смотрела на него широко открытыми глазами и делала странное, как все взрослые умеют: молча плакала крупными слезами и улыбалась. Санёк не мог решить, жалеть её сейчас нужно или, наоборот, радоваться за неё. И тут вдруг эти мысли куда-то нырнули, растворились, пропали. Его обожгла невесть откуда взявшаяся страшная догадка.

Он никогда и никому не сможет показать самую первую и самую главную марку из своей коллекции! Это невозможно. Рано или поздно все в их крошечном дворе узнают, где он её взял. А значит, он никогда не будет собирать никакую коллекцию. Он никогда не взглянет ни на одну марку в мире. И пусть они все будут из «Сивы», ему плевать!

Они шли по перрону, и Юра был в своей форме и держал Саньку за левую руку. Мама шла справа и тоже держала Саньку за руку. И на них все смотрели. И наверняка завидовали. А они почему-то не могли сказать друг другу ни единого слова.

Когда подошли к вагону, Юра всё-таки произнёс дежурное:

– Ну всё, хватит меня провожать. Долгие проводы – лишние слёзы, всё такое. Отправляйтесь домой. Вспоминайте иногда вашего студента. – закончил он совсем неожиданно.

Потом спохватился, засуетился, полез в карман, достал бумажник и начал рыться в нём дрожащими пальцами:

– Только знаешь, Санёк. Я хочу на память. Тебе. Ну, чтобы, значит, не забывал... бедного студента... Да куда же я её... Сейчас, Санёк, дружище, вот засунул её куда-то...

А Санёк пятился, пятился от него по перрону и вдруг начал кричать, срывая голос и мотая головой:

– Не надо! Не смей! Дядя Юра! Не вздумай! Ненавижу! никогда... не приезжай... Видеть тебя не могу!!! Оставь нас с мамой в покое! Знать тебя не хочу! Забуду через две минуты!

И развернувшись на пятках, Саня ринулся сквозь толпу прочь. От него, от неё, от себя. И от женщины-жирфа, которая печально улыбалась ему вслед, медленно снимая с шеи одно кольцо за другим.

Комедианты

Куда подевался мальчик, Которым я был когда-то?
П. Неруда. «Звезда и Смерть Хоакина Мурьетты»
(пер. А. Вознесенского)

Я затосковал тотчас же, как только Галка уехала. Ну, хорошо, не тотчас, а только через пару-тройку недель или даже месяцев. Но затосковал отчаянно. Смешно сказать: семнадцать лет почти ежедневно мечтал, чтобы она поскорей вылетела из родительского гнезда, а как только случилось – полез на стены, взвыл волком и проклял покой и одиночество, которые Господь ниспослал после семнадцати лет моих молитв.

Я попытался заземлить внезапную тоску на Ирину, и тут же выяснил, что нам совсем не о чем говорить и даже нечем вместе жить. А ведь мы были беззаветно верны друг другу в отчаянной войне с безбашенной Галкой за её светлое будущее. Но как только война окончилась заслуженной победой, у нас с Ириной совсем не осталось повода не только для былой сплочённости, но даже для мало-мальского разговора о чём-либо, кроме «погода совсем испортилась» и «сложи посуду в посудомойку, пожалуйста». Спали вместе, но... В общем, покой и одиночество были мне явлены в самых зверски-безжалостных своих ипостасях.

Тут бы, кажется, окунуться с головой в работу. Компания – моя. Компания успешная. Обороты, ФОТ, ебитда – растёт всё, что только может. Процессы налажены, команда мечты сколочена, чего ещё надо? Сиди в кабинете, качайся в кресле, общайся с преданными тебе людьми... Нет! Настолько нет, что однажды я даже приболел. Правду сказать, хворь моя была самая ничтожная, не достойная никакого внимания, но я уцепился за неё и раздул внутри себя до невероятных размеров. Скорчил самую страдальческую мину и в офис не поехал, остался дома. Ирина равнодушно меня пожалела и умотала в универ, прокачивать мозги своим студентам.

Я зашёл в Галкину комнату, чего не делал уже несколько лет. Да и заходил ли я к ней вообще когда-нибудь? Конечно, заходил, но сейчас уже совершенно этого не помню. Комната вполне незнакомая. «Ещё не взрослая, но уже и не детская» – откуда это? Аккуратненько всё, хотя стены, конечно, заклеены плакатами неведомых мне героев. Впрочем, вот даже и мне знакомое лицо. Привет, Цезария. Не ожидал с тобой тут встретиться.

Несколько полок плотно заставлены книгами, потрёпанными и утыканными закладками. Моя дочь, как ни крути! Я пробежался пальцем по корешкам и наткнулся на корешок необычный. Не сразу понял, что это не книга, а общая тетрадь. Небольшого формата, но толстая, на девяносто шесть листов. Взял её с полки, раскрыл. В клеточку. Плотно исписана, но не Галкой. Её куриная лапа на такую почти каллиграфию физически не способна. Я бездумно полистал. Видно, что записано не в один присест – ручка неоднократно менялась. Да это дневник! На полях кое-где – бездарные каракули, отнюдь не пушкинского толка. Их место на стенах сортира, а не... И тут я ухватил смысл нескольких слов. Руки дрогнули, тетрадь шмякнулась на пол. Я поднял её, открыл сначала и прочёл:

Милая моя, хорошая. Здесь, в этой тетрадке, любовь моя, я буду учиться с тобой разговаривать.

Я рухнул задницей на стул у галкиного письменного стола, прикрыл глаза, посидел так несколько минут. Открыл глаза и начал читать.

* * *

15 сентября, воскресенье

Милая моя, хорошая. Здесь, в этой тетрадке, любовь моя, я буду учиться с тобой разговаривать. Репетировать. Чтобы когда-нибудь решиться и заговорить по-настоящему. Ох, нескоро это будет, но я не тороплюсь. Некуда. Из своей книги я понял главное: нужно знать цель и идти (ехать, плыть, ползти, это уж как получится). Совсем неважно, *куда*. Важно знать цель и не стоять на месте. Тогда в один, самый неожиданный, момент цель окажется передо мной, останется протянуть руку и коснуться...

20 сентября, пятница

Ну почему, почему всегда так получается? Объясни мне хоть ты, моя хорошая! Ты видишь, как я здесь пишу? Не видишь, конечно. Но увидишь, наверное, когда-нибудь. Смотри, как я пишу здесь: буквы ровные, плотные, пухленькие, как в прописях. Помнишь прописи? Ты, наверное, их ненавидела, как все вы, а я очень любил и вот результат. Посмотри! Нет, ты никогда не увидишь это. Зато видела мой сегодняшний позор. Какой по счёту? И не надоело вам скалиться, кстати? А? Что молчишь? Ладно, извини, вы же и вправду не виноваты, что я такой.

Главное, Кузьминишна нудит и нудит:

– Сергей, ну говори же погромче, ну пиши же покрупнее!

И я честно стараюсь, я каждый раз весь на пот исхожу, но всё равно. Понимаешь, я бодро и чётко говорю начало фразы и... Чёрт его знает. Будто бы тут же устаю следить за собой. Слова комкаются, в горле пересыхает, мне кажется, что я жую лист бумаги, плотный, шершавый и сухой, как пески Сахары. Я сбиваюсь на шёпот, и знаешь, чего боюсь больше всего? Ты только не смейся. Больше всего боюсь, что мел просто растворится в моих потных пальцах. Я пишу на доске, и буквы становятся всё мельче, всё тоньше, а как у них это получается – меня и не спрашивай!

Тут Кузьминишна теряет терпение.

– Ну, ладно, Сергей. Решение правильное. Но позволь мне так объяснить его твоим товарищам, – ехидничает она и идёт к доске. Стирает с доски мои пиктограммы и повторяет моё же решение, просто красивыми буквами. А стоило ли так стараться, если эти дебилы всё равно не поймут ни черта? Да и не сдалось оно им, решение это. Хоть моё, а хоть и твоё, Кузьминишна наша грозная.

Ладно, фиг с ним, со всем этим. Главное – я пока совсем не вижу, как приблизиться к цели. Но ничего. Главное – не останавливаться, хотя бы ползти. Жди, я скоро.

8 октября, вторник

А вот это уже интересно. Нет, я не знаю, как это поможет, но вот чувствую, что любое изменение мне нам с тобой на пользу. Поэтому подробно всё тут запишу. Потом буду перечитывать и решу, что с этим делать.

Знаешь, даже самому толстокожему бегемоту я бы не пожелал пройти через это. А у Олега кожа тонюсенькая, ты заметила? Ах да, заметила, конечно! Это же ты первая захихикала:

– Ой, покраснелся, как девица!

Вот объясни мне, почему вы, девки, все такие дуры? Даже ты, милая моя! Правильно Кузьминишна тебя одёрнула, она-то понимает. (Откуда, интересно?)

Ты вообще представляешь – что это за «приключение»? Да нет, конечно. Ты же в этом классе с самого начала. А я никогда не забуду как в прошлом году первого сентября точно

так же стоял истуканом перед вашими ухмыляющимися рожами, которые невозможно различить. И чувствовал как сверху в мой затылок уставились, сурово хмурясь, Пифагор с Лобачевским. У меня тогда, конечно, вспотели ладони, подмышки, да и там всё взмокло. А вам только бы поржать, дурачье. И поскорей печать поставить. Помнишь, как сегодня было?

Не успела Кузьминишна Олега ко мне за парту определить, как Плюха тут же заржал:

– К Тюле!

И Док тут же, конечно (куда ж без него!), лениво так, как он умеет:

– И будут они Тюля с Матюлей.

– Тюля с Матюлей! Матюля! – завопил Плюха.

Откуда у него столько восторга, у дебила тупорылого? Он восторг вместо каши по утрам жрёт, что ли?

Но главное – всё, припечатали. Быть Олегу Матвееву теперь Матюлей. Просто потому, что вам так захотелось. Хотя... Помнишь, что потом было? Когда алгебра закончилась. Следом – геометрия. Тут же, у Кузьминишны, так что из кабинета в кабинет переходить не нужно. Это тоже надо зафиксировать, занести в анналы. Обязательно. Тебе не понять, а я чувствую – где-то здесь всё и кроется, отсюда я напрямую к тебе и поверну, хоть пока и не знаю – как именно.

В общем, помнишь? Кузьминишна уплыла в учительскую. Кроме неё никто из класса не вышел, все столпились вокруг нашей парты. Мы с Матюлей сидели, как приклеенные к стульям. Олежа катастрофически краснел. Я потел.

Вот и Док вяло поднялся со своего места и тоже подошёл к нашей парте. Плюха, естественно, торчал из-за его плеча, раззявив пасть – вот-вот слюной забрызгает от счастья.

– Ну, привет, Матюля, – сказал Док и протянул Олегу руку. Тот встал, ответил на рукопожатие и тут же сел обратно, глядя прямо перед собой.

– Кузьминишна сказала – ты издалека. Откуда? – начал Док свой допрос.

И случилось.

– Ис-с-с-с-с... Исссу-ууу... – вдруг затянул Матюля.

Я посмотрел на него. Его лицо побагровело, он широко открыл рот и мучительно пытался вдохнуть.

Вот давай, прямо сейчас, скажи «у» на вдохе. Давай-давай, не стесняйся! Не получается? Попробуй как Олежа. Он тянул воздух в себя, его грудь вздулась парусом, глаза закатились, подбородок тянулся вверх и мелко-мелко дрожал. Он даже вроде как захрюкал.

Плюха тут же заржал, конечно. Док лёгким движением ткнул ему в «солнышко», Плюха сел на пол. Наверное, это помогло Олегу. Он смог прервать свой бесконечный вдох, закрыл рот и сделал несколько шумных вдохов-выдохов через нос. Потом разлепил губы и наконец-то смог произнести:

– Из С-с-сургу́та.

Плюха поднялся на ноги и, желая подсушить репутацию, тут же ввернул:

– А чего к нам занесло? Холодно там, в Сургутах ваших, а? – и даже не буду уточнять, как он тут же заржал, радуясь своему удачному вопросу.

Тут меня рвануло. Ох, не люблю я такие моменты. И хорошо, что нечасто бывает. Но вот – рвануло.

– Чего ты пристал к человеку? Не видишь – волнуется. Оттого и заикается. Отвали! – рявкнул я.

Ну как рявкнул... мне так показалось. Док склонил голову на левое плечо и весело поинтересовался:

– Чего, Тюля? Чего ты вякнуть пытаешься? Ты не подумай, мне уже страшно, но хотелось бы понимать отчётливее – чего именно бояться?

А Плюха уже оттянул левой рукой средний палец на правой и подался, Табаки проклятый, к моему лбу, отвесить своего знаменитого леща.

И тут опять случилось.

Олег сидел всё так же, сложив руки перед собой и глядя в парту. Но как только плюхина лапа приблизилась к моему лбу (а я изо всех сил старался не закрыть глаза), правая олежкина рука взметнулась вверх, описала полукруг, перехватила плюхину и припечатала её к парте.

– Иди на хер... – тихо сказал Олег и посмотрел прямо в плюхины глаза. Тот дёрнулся, но освободить руку смог только со второй попытки.

– Ты чего, заика проклятый, ваще прибурил?! – завопил Плюха. Олег сидел, упорно глядя Плюхе в глаза и совершенно бледный. Кстати, я теперь знаю, что такое «желваки играют»...

Плюха опять было раскрыл рот, мучительно пытаясь подобрать слова пообиднее. Но:

– Угомонись, Плюха, – сказал Док. – Не видишь, тут дело идёт о настоящей мужской дружбе и солидарности. Не надо мешать Тюле с Матюлей... Пусть живут. А жизнь покажет.

И Док лениво направился к своей парте, и все разбежались по своим местам, потому что прозвенел звонок, и Кузьминишна через секунду всплыла в класс с журналом под мышкой.

А где ты была всё это время, что видела, а что нет – я не знаю, отвлёкся.

18 октября, пятница

Ну, в общем, жизнь нам показывает. Ничего интересного, правда, она предъявить не может. Мы по-прежнему живём отдельно от вас. Приходим в школу, уходим из неё, вот и всё. Только не думай, что мы с Матюлей подружились. С чего бы вдруг? Ну да, вроде как выручил он меня в тот раз. А зачем? Что мне, плюхиного леща бояться? Да я к ним привык давно, и обязательно ему отомщу за каждый. Лично я. За каждый (я их все помню!). И не надо мне никакой помощи. Он меня не от леща спас, а лишил права приготовить ещё одно холодное блюдо, когда время придёт. Я его просил об этом? Нет.

В общем, никакой дружбы и солидарности у нас не вышло. Облажался Док, как обычно. Да и какая дружба с немым? Он же почти ни слова не говорит. Ну, я б тоже помалкивал, если бы со мной такая беда была.

Но всё равно, я думаю, что именно от той самой перемены уже начался мой окончательный путь к тебе, моя хорошая. Это всё равно, что пока ничего не видно и не понятно. Это всё равно.

23 октября, среда

Сегодня читал свою книгу. Ой. Я уже второй раз книгу упоминаю и всё время говорю – «своя». Ты так, чего доброго, подумаешь, что я эту книгу написал! Нет, конечно. Просто это моя главная книга. Я её за два года (с тех пор как мама мне её подарила) прочитал уже восемь раз. В первый раз у меня на это ушло месяца три. Всё время хотелось бросить. Думал: ну что за идиоты, почему нужно всё время плыть не туда!? Да ещё постоянно жать друг другу руки со слезами на глазах. И такие речи у всех торжественные, как у нашего директора на линейке. Бр-р-р! Приключения, конечно, интересные, иногда смешно, даже очень, но вообще – кое-как я в первый раз до конца добрался, представляешь?

Зато когда двадцатую главу дочитал... «Капитан услышал крик Мери, протянул руки и упал, словно поражённый громом.» ... Я вдруг всё понял, вообще всё. Меня самого будто громом поразило. Э, да что там! До тебя всё равно не дойдёт. Ладно, потом как-нибудь объясню. У нас с тобой много времени будет, правда? Спокойной ночи, любовь моя.

Ах да, совсем забыл сказать, что хотел. Я когда первый раз книгу дочитал, тут же открыл на первой странице и начал читать заново. И теперь постоянно перечитываю. Наизусть,

конечно, не выучил, семьсот страниц всё-таки, но теперь от начала до конца у меня уходит дня три, не больше. И я твёрдо усвоил, что главное – знать цель и двигаться.

1 ноября, пятница

Нет, ты никогда этих записок не увидишь, потому что я буду записывать сюда всё, вообще всё.

Сегодня физра последним уроком была. В зале, на улице же холодрыга. Ну, побегали, попрыгали, ноги позадирали, добавили вони, ею же и надышались от души. Хламидыч перекатывается по залу на своих кривых ходульках, слюной через свисток брызгает.

Ненавижу это всё. Мне всё время кажется, что физра – это для тебя единственный повод на меня посмотреть. Чтобы поржать, конечно. Вечно вы там хихикаете, в своём уголке, на меня поглядывая. Сами-то... Ну, ладно, давай не будем ссориться, милая моя!

Сегодня Хламидычу понадобилось, чтобы мы по канату к потолку сползали. Я, честно, сразу вспомнил книгу, представил, что я – Роберт, ухватился за канат, оторвал ноги от пола, напрягся весь, прям почувствовал, как мышцы на руках и спине забугрились.

– Смотри, не пёрдни! – завопил Плюха.

Ну, я, конечно, тут же руки разжал и на пол, а точнее, на маты, задницей и шмякнулся. С высоты в полметра. Ты, кажется, больше всех веселилась. Вот как мне потом простить тебе этот смех? Потом, когда всё наладится. Как думаешь, смогу? Смогу, наверное. Когда цели достигаешь, всё ведь меняется. Ладно, там видно будет.

Ну вот. Хламидыч, как водится, затренькал своим свистком, все замолчали.

– Горе мне с тобой, Тюля, – говорит. – Ну что, – тут же продолжает скучным голосом. – Сегодня найдётся кто-нибудь, кто искупит тюлин грех? Или, может, ты сам раскачался ненароком до силы необоримой, просто скрываешь от нас, любопытных? Нет, не раскачался? И никто за тебя пострадать не хочет, как всегда? Ну, тогда ты знаешь, что делать.

Знаю, конечно. В первый раз, что ли? Урок закончился, все пошли в раздевалку, а я остался зал в порядок приводить. Открыл пару окон, козла к стенке оттащил, маты стопкой уложил, взял у Хламидыча в каморке ведро и швабру, набрал воды, поелозил по полу мокрой тряпкой. Прислушался. Из раздевалок – ни звука, все давно по домам разошлись. Тогда я опять зашёл в хламовник Хламидыча, нашёл какой-то целлофановый кулёк, открыл дверь из спортзала на улицу, выскочил наружу, сбежал с крыльца, подошёл к трубе теплотрассы (знаешь, прямо справа от крыльца такая есть?), отогнул алюминиевую обёртку, надел кулёк на руку и оторвал добрый шмат стекловаты. Вернулся в зал, подошёл к матам, стянул верхние три-четыре на пол, а под обивку верхнего из оставшихся в стопке, через боковую прорезь, рукой в кульке, запихал стекловату. Тщательно её распределил поровнее, чтобы незаметно было. Залез сверху, попрыгал, чтобы совсем разровнялось. Опять вернул все маты в стопку, кулёк, ведро и швабру поставил к Хламидычу, закрыл окна, переоделся и пошёл домой.

Надеюсь, не тебе достанется на том мате кувыркаться. Хотя... Если тебе, мы будем квиты. Согласись, это по справедливости, милая моя?

20 ноября, среда

Ну, Матюля, конечно, отчебучил сегодня. Лично я не ожидал. Да и никто не ожидал. Когда я опять не смог собственную задницу оторвать от грешной земли больше, чем на метр, когда упал на маты, когда отполз под ваш залиvistый смех и встал в строй, уткнув глаза в пол, когда Хламидыч начал свою заученную речь, Матюля вдруг вышел из строя на шаг вперёд.

– Шшшшш-то делать? – спросил он.

Видишь, какая она бывает, тишина?

В общем. Я только сейчас понял. Кажется, я проиграл. Совсем. Какая-то ошибка. Книга врёт. Бесполезно. Больше не буду сюда писать.

22 марта, суббота

~~Не знаю, зачем. Всё же бесполезно, наверно. Но это нужно записать. Потому что я опять почувствовал. Что-то происходит. Я не знаю, связано ли это с ней. Вряд ли. Но кто сказал, что мне нужно записывать только то, что про неё!? Это моя тетрадь. Это моя книга. Не та. Та — моя главная, а эта — моя собственная.~~

Безумный день. А начался он ещё вчера. Обгоняю вас с Доком перед входом в школу. Слышу, как ты говоришь: «Ну и что, что он такой, он тоже наш, значит и ему надо. Традиция же». Увидела меня и замолчала. И Док молчал, только провожал меня сомневающимся взглядом. Потом, перед самым уроком, подошёл к нам (Плюха, конечно, из-за плеча торчит, мы с Матюлей за партой, руки по уставу) и говорит, на Олега глядя:

— Ну что, недоразумения наши, знаете, какой завтра день?

Матюля покачал головой. Я молчал, уставившись в парту.

— Я так и думал. Завтра у Кузьминишны день рождения. И у нас традиция: всем классом идём к ней в гости, тортики-печенья. Так что давайте, завтра на школьном крыльце.

И повернулся уходить.

— Во сколько? — пискнул я.

Док вернулся, склонился к нам и тихо сказал:

— В одиннадцать, — и Плюха, конечно, радостно ржанул.

Я пришёл в половину и долго бродил вокруг школы, поглядывая из-за угла на её крыльцо. Никого не было. Без пяти минут приплёлся Матюля. И больше никого. Я продолжал наблюдать из укрытия. Одиннадцать. Никого. Пять минут. Пятнадцать. Я хотел было пойти домой, но почему-то передумал и подошёл к Матюле.

— Здоров.

— 3-3-3-дорово.

— Ну что, кажется, никого уже и не будет?

— П-п-п-похоже н-н-на то.

— Тогда по домам?

— Н-н-н-ет, — вдруг сказал Матюля, — Д-д-давай ко мне п-п-п-ойдём. — И добавил, отчаянно покраснев: — П-п-п-пожалуйста.

И я пошёл. Не потому что хотел, а потому что это могло стать хоть каким-то лекарством. Честно говоря, доковские лещи гораздо больше плюхиных.

Оказалось, Матюля живёт в одном с тобой подъезде, только на седьмом этаже! Вот это новости.

Вошли. Квартира в точности как у нас, от входа налево — сразу кухня. На кухне сидели два мужика, суежилась матюлина мама.

— О! Сын вернулся! А ты чего так рано?! — заорал один из мужиков, поздравнее. Он сидел за столом в майке, на правом плече была татуировка, но я от порога не мог разглядеть, что там.

— И друга привёл?! Вот это правильно! День рождения нужно с друзьями отмечать, а не со стариками своими.

— У кого день рождения? — захлопал я глазами.

Матюля махнул рукой, краснея и смущённо улыбаясь: «Не важно, проходи, раздевайся».

Зашли на кухню. Олег стал знакомить:

— Это папа, Алексей Владимирович.

— Дядя Лёша и никак иначе! — громыхнул тот, обхватив своей лапой мою ладонь с запястьем вместе. Оказывается, на плече у него была выколота голая тётка. Когда он двигал

рукой, мышцы бугрились и тётка игриво водила жопой из стороны в сторону. Бицепс у дяди Лёши – что надо! Вот уж кто по канату и на кремлёвскую башню забрался бы!

– Это Карась, папин друг, – показал Матюля на второго, плюгавенького мужичонку, с таким морщинистым лицом, что было боязно: как бы оно не развалилось на тонкие полоски, да не облетело бы на пол.

– Карась, – сказал он, протягивая мне руку, и я понял, что ни за что и ни с чем не обращусь к нему лично.

– Тётя Люба, – продолжил Олег, и дядя Лёша крикнул с досадой, но ничего не сказал.

Тётя Люба кивнула мне, но тут же отвела взгляд, засуетилась, стала усаживать нас с Олегом за стол, доставать из холодильника какие-то салаты, бутерброды с докторской, снимать с плиты картошку, ну, в общем, что обычно хозяйки делают, то и она начала.

А дядя Лёша налил взрослым по рюмке водки, убрал пустую бутылку под стол, посмотрел на нас с Матюлей и говорит тёте Любе:

– И пацанам налить надо. Достань там, из холодильника. Чего ты на меня уставилась? Да не водку же! Фанты, говорю, достань, пацанам налей.

Ты пробовала когда-нибудь фанту, милая моя? Знаешь, у меня прям слёзы из глаз выступили, когда я первый глоток сделал. Ты обязательно попробуй! Или вот что: я тебя угощу. Не знаю, правда, где её достать, но вот дядя Лёша же смог, значит, где-то она и бывает. Я найду.

В общем, посидели мы за столом немного. Я не ел почти, только фанту маленькими-маленькими глоточками... Потом дядя Лёша ещё бутылку водки достал и говорит:

– Ну что, пацаны, идите, наверное, в олежкину комнату. Чего вам тут, за взрослым столом, делать.

Мы встали из-за стола и пошли с кухни. А дядя Лёша вдруг нам вслед:

– Постой, сынок. Я ж совсем забыл, голова дырявая! Карась, давай!

Карась вскочил из-за стола, выбежал из кухни и вернулся назад через секунду со здоровенным магнитофоном в руках. Представляешь, двухкассетник японский! Sanyo! Это же Япония, да? И дядя Лёша этот мафон Матюле тут же и подарил!

– Бери, – говорит, – сынок. Мне же для тебя, ты же знаешь, я же...

А Карась крутится вокруг, хихикает и поддакивает:

– Да, Олежка, батя у тебя, конечно! Ты ж цени. А там и кассета есть. Идите, ребятки, идите, мы тут за ваше здоровье сами уж...

Мы пошли в олежкину комнату. Именинник счастливый! Конечно, сразу мафон включили. Там песни такие – я никогда не слышал, по телеку такие ни за что крутить не станут. В первой песне я слова запомнил. Кажется, так:

Есть тревога на лице
Есть магnezия в шприце
Щас она там быстро оклемается!

И песенка такая, заводная, от неё руки-ноги сами собой дрыгаться начинают. Олежка в какой-то момент схватил со своей кровати подушку и начал барабанщика изображать. А я вроде как с микрофоном и пою. Ну, понарошку. Да, как дети, но весело же!

Потом другая песня началась. *Тётя Хая, вам посылка из Шанхая, а в посылке три китайца, три китайца красят яйца.* Тоже весёлая песня, но на ней я уже «петь» утомился. Думаю: что дальше делать?

А у Матюли в комнате – кровать, да стол для уроков, да стул, чтоб за столом сидеть. Всё. Вот, магнитофон теперь ещё есть. На столе – учебники. И книжка одна. Я взял. На обложке: «Софокл. Трагедии». Открыл. А внутри, знаешь, такие стихи, только без рифмы. Ну, то есть, в столбик, а рифмы нет. Ерунда какая-то. Я Матюлю спрашиваю:

– Ты что, эту муть читаешь?

Он кивнул.

– И что, тебе вправду интересно?

Он опять кивнул, очень серьёзно на меня глядя. Подошёл, взял у меня книжку, открыл и начал читать. Как тогда, про «молчи», но теперь совсем по-другому. Я тебе честно скажу: я ни слова не понял. Ну, то есть, слова понятные, почти все, а о чём они – хоть убей. Но когда он их читать стал, у меня прям как от фанты, знаешь, прям вот... Да не знаю, как сказать. Ну, заплакать вдруг захотелось. А он читает и читает, торжественно так. И негромко, а каждое слово прям как молотком. Потом он, представляешь, книжку отбросил и наизусть шпарить начал. И я вдруг понял, что там вроде как несколько человек разговаривают. Олежа за одного так говорит, а за другого – уже немножко по-другому. И даже как-то по-другому встаёт. То чуть согнётся, то плечи распрямит, то руку вперёд тянет и глаза в потолок, то наоборот – в пол и совсем тихо бубнить начинает, но каждое слово отчётливо, а главное – знаешь, он ни разу не... Ну, не это самое. Как и не было никогда.

Я сам не знаю, почему, книжку, им отброшенную вдруг схватил, начал листать. Нашёл, где он сейчас читает. И он когда дочитал кусок за какого-то Эдипа, там дальше должен Хор и я, в общем, почему-то вдруг стал читать, как будто я этот Хор. А Олежа замолчал, хотя я думал, что когда Хор – то надо хором, но он молчал, на меня только смотрел, а у меня голос, знаешь, вдруг откуда-то, и я стал понимать, ну, не смысл, нет, что-то начал понимать, или чувствовать просто, а не понимать, потому что там опять ерунда какая-то, бессмыслица, наверное, хотя вот что-то же я всё равно. Потом Матюля опять, снова я. Иногда мне за Эдипа приходилось, иногда за жену его, не помню, как звали. Я как раз за неё читал, а Олежа подошёл к мафону, нажал кнопку, красная лампочка загорелась, а он вдруг стал с себя одежду снимать, прям до трусов, представляешь? Потом простынь с кровати своей стянул, и вокруг себя намотал, как одежду эту, то ли римскую, то ли греческую, древнюю, в общем. И тут уж прям совсем как-будто по-настоящему. Он ещё одеяло из пододеяльника вытащил, пододеяльник мне протягивает. Я раздеваться не стал, застеснялся, просто обмотался и тоже вроде как стал похож, наверное, совсем чуть-чуть, но это уже неважно почему-то совсем было, просто нам нужно было вместе, вот это, не надо хором, не важно, кто там кто, как звали, нас уже никак не звали, мы просто были и слова эти, они совсем не для смысла, а для голоса, моего, его, их, всех, кто вокруг. И вдруг дядя Лёша говорит:

– Ну ни хрена себе!

Я замолчал, пришёл в себя. Оказалось, что мы стоим посреди комнаты, обнявшись. Я весь зарёванный почему-то. А в дверном проёме – дядя Лёша. Из-за одного плеча у него тётя Люба выглядывает, из-под другого – Карась. А дядя Лёша помолчал (у него тоже желваки) и говорит:

– Вот видишь, Карась... Беда какая... Ростишь их, ростишь, мужиками хочешь сделать, наследниками. А они – вишь ты, как!

– Комедианты! – хихикнул Карась.

– Да какие там комедианты! Одно слово – пидорасы!

– Лёш, да ты чего?! – охнула тётя Люба.

– Цыц, блядь! – рявкнул дядя Лёша. – Ты мне тут ещё будешь...

Он обвёл мутным взглядом комнату, остановился на магнитофоне. Тот продолжал жизнерадостно светиться красной лампочкой.

– Ты чего... – задохнулся дядя Лёша. – Ты всё стёр, что ли?

– Т-т-ты же мне подарил...

– И что теперь? Теперь на отца насрать, да? Теперь на отца – с прибором? Так тебя понимать, именинничек дорогой? – заорал дядя Лёша, подскочил к мафону, выключил запись. Повернулся к Олегу.

– Не ори, у меня гости. – сказал Олег твёрдо.

Тогда дядя Лёша подошёл к нему и ударил раскрытой ладонью по лицу. Прямо сильно ударил, такой жуткий звук, мне больно стало, как будто меня.

– Гостям давно пора. Загостевались, – сказал дядя Лёша, на меня не глядя.

Я сбросил с себя дурацкий пододеяльник и кинулся к выходу, начал обуваться, пальцы дрожали, шнурки никак. За мной выскочила тётя Люба. Она стояла и смотрела, как я борюсь со шнурками, а из олежкиной комнаты, очень тихо, дядь лёшин голос:

– Упор лёжа принять. Р-раз... два... три...

Я, наконец, справился, выпрямился. Восемь... девять...

– Спасибо вам огромное, – сказал я тёте Любе. Тринадцать... четырнадцать...

– Тебе спасибо, что зашёл Олежку поздравить, – сказала тётя Люба. Семнадцать... – Ой, погоди, – спохватилась вдруг она и метнулась на кухню, к холодильнику. Двадцать... – Вот возьми, угощайся, – протянула она мне бутылку фанты. Двадцать три...

Я бутылку не взял (я тебе потом как-нибудь, ладно?) и выскочил за дверь. Двадцать восемь... Дверь захлопнулась. Я кинулся вниз по лестнице, перепрыгивая каждый пролёт в два прыжка. Седьмой этаж, Четырнадцать пролётов. Двадцать восемь прыжков. Внизу, у лифта стояла ты.

– О, Тюля. Привет. А ты какими судьбами тут? У Матюли был, что ли? А почему к Кузьминишне не пришли?

– Мы приходили. К школе. В одиннадцать.

– Почему в одиннадцать? К двенадцати же! А чего такой красный? Вы что, с Матюлей поссорились?

И знаешь, впервые в жизни я увидел какой-то интерес. Интерес ко мне! И тут я сделал самое умное, что мог. Я сделал многозначительный вид и махнул рукой, мол, что с тобой, девкой, обсуждать наши мужские дела. И сказал: «пока!» и пошёл домой. И внутри у меня всё пело, потому что я вдруг понял, что опять что-то происходит, и может быть всё-таки, может быть уже совсем скоро, совсем чуть-чуть. Теперь бы только дожить до понедельника.

24 марта, понедельник

Всё получилось! Всё-таки я не зря всё это время, и мозги у меня шурупят – ого-го! как бы вы ни ржали.

Я не сразу знал что делать. Просто я умею очень быстро ориентироваться в ситуации, вот в чём всё дело, моя хорошая.

Мы когда пришли на первый урок, расселись все, два места были не заняты. Рядом со мной. И рядом с тобой. Ирка то ли опаздывала, то ли вообще не придёт. И тут заходит Кузьминишна с журналом под мышкой. А следом за ней – Матюля, голову наклонил, но на левой щеке, под глазом, прямо на всю скулу – жёлто-синее и сразу по классу: «ш-ш-шу-у-у», а у меня как стрельнуло, как щёлкнуло что-то внутри, и я прямо руку тяну, Кузьминишна спрашивает: «Что ты, Тюленин?», и я вскакиваю, все про Матюлю тут же забыли, а сам думаю: «Только бы не запищать, только не сейчас, ну один только разок, ну что тебе стоит?», и твёрдым голосом говорю:

– Зоя Кузьминишна, мы вчера у окулиста были, у меня что-то зрение стало сильно садиться, мне бы поближе к доске...

И Кузьминишна говорит:

– Ну давай, вот, к Штраус садись, раз такое дело, а там видно будет. А я уже манатки свои сгрёб – и к тебе, Матюля навстречу, а я мимо, не глядя, плюхнулся на стул с тобой рядом, замер, сердце колотится, а ты тут и шепчешь:

– Это ты ему, что ли? – и глаза круглые.

И я опять лицо такое равнодушно-многозначительное сделал, мол: понимай, как хочешь, а сам чувствую: вот-вот сознание потеряю. Дополз. Права книга. Ай да Тюля!

26 марта, среда

Оказывается, это ещё не всё. Мало сесть за одну парту, что-то ещё должно произойти. Ну, я теперь не сомневаюсь. Просто жду.

Пока что расскажу тебе историю. Сегодня, когда географию отменили и вы по домам разбежались, я остался. Сидел на подоконнике, смотрел. Тут десятиклашки пришли, у них история в соседнем. Смешные такие. Пацаны думают, что это у них усы. А у девок дойки такие, у некоторых, прямо... И тут один пацан говорит девчонке:

– Ну хватит дуться, ну чего ты! Ну прости мальчика, был не прав.

А она глазки закатывает и говорит:

– Ой, мальчика... Вы посмотрите на него. Да был ли мальчик?

И делает вид, что злится, а сама-то уже, я же вижу. И тот пацан тоже, конечно. Он к ней подошёл. близко-близко, наклонился и в шею её поцеловал, а сам мне в глаза заглянул и подмигнул. А правой рукой – её за талию, и даже ниже, и я прям почувствовал, что сейчас в его руке, прям ощутил, как в своей. А она такая:

– Да ты чего, чего ты, перестань. Глянь, тут же... – И мне: – Ну, чего ты уставился? Давай, дуй отсюда!

И я встал с подоконника, кое-как портфелем прикрылся и домой пошлёпал, а они остались там, хихикать. Надо мной, наверное. Но неважно, теперь-то уж я ни за что.

31 марта, понедельник

Истеричная сука. Уродка. Ненавижу.

Хотел не писать, даже хотел тетрадь сжечь, даже вышел из дома, зашёл за гаражи, разжёл костерок. Но нет. Я запишу, пусть это будет, мне же всё равно жить, и как только если ещё раз, так я сразу открою, перечитаю, и как рукой снимет.

Сегодня наша очередь по классу дежурить подошла. Остались после уроков. Я спокоен. Верю своему мозгу, знаю, что он не подведёт в нужный момент. А нужный момент обязательно именно сегодня случится, потому что когда же ещё. Она со мной всё это время не разговаривала. Стеснялась, наверное, я же понимаю. Когда все вокруг, Док тот же. Но вот сегодня же, вдвоём, после уроков, нет больше никого.

Ну, я стулья перевернул, на парты взгромоздил кверху ножками, воды припёр. Она цветочки поливает, доску моет. Я спокоен.

И тут – надо же, дверь в класс открывается, Кузьминишна заходит, а с ней – тётя Люба.

– Ребята, выйдите ненадолго, – говорит Кузьминишна. – Сергей, воды, что ли, принеси.

– Да я уж принёс.

– Сергей! – говорит Кузьминишна, и когда она так говорит, нужно идти.

Вышли мы. Она рядом с классом осталась, а я пошёл в туалет, и правда вылил воду, и новую набрал. Вернулся. Смотрю: она стоит совсем рядом с дверью, подслушивает. И лицо у неё... Я подошёл, тихонько ведро с водой на пол поставил, тоже слушать стал.

– Жаль, конечно, нехорошо это. В конце учебного года вот срываться, Олегу не на пользу пойдёт. – это, значит, Кузьминишна вешает.

– Да конечно же. Я же понимаю, и Алексею Владимировичу говорила. А он опять за свою песню: «Не могу здесь, сезон вот-вот начнётся, тундра зовёт, задыхаюсь!». Я говорю: «Ну ты хоть о сыне подумай. Каждый год – две школы меняет, разве ж это дело!». Я ему говорю: «Смотри, у него и друг здесь какой хороший, Серёжа вот этот, что на дне рождения был!»

Это ж, Зоя Кузьминична, у него впервые, у Олега, чтобы такой друг. Вы же понимаете, с его, с этим вот... А тут Сергей. И Олег всё время – только про него. Друг, говорит, мой.

– Да вот что-то я слышала, рассорились они? Кажется, даже подрались, Олег даже с синяком в школу приходил.

– Да ну что вы! – ахнула тётя Люба. – Это ж не Сергей. Это же отец его так. Он же, Алексей Владимирович, души в Олежке не чаёт, но вот вбил же себе в голову, что должен из него настоящего мужика сделать. И почему-то думает, что вот так надо. А мне хоть сквозь землю провалиться. Это ж всё при Серёженьке произошло.

И тут эта ебанутая сука повернулась ко мне, глаза горят, смерила взглядом с головы до пят, а потом как шарахнет ногой по полному ведру! Потом – ещё раз! Ведро опрокинулось, вода мне на ноги. Она – ещё раз, по пустому уже почти. Грохот! Кузьминишна с тётей Любой выскочили из кабинета: «Что тут у вас за светопреставление?» А она лицо ладонями закрыла и убежала. Даже портфель в классе оставила.

Я пол в коридоре вытер. Потом сходил, ещё воды набрал, в классе помыл. Тётя Люба с Кузьминишной ушли уже. Я хотел её портфель взять, ей к двери отнести, позвонить и убежать. Потом думаю: «Да пошла бы она! Мальчика выискала. На побегушках!» Вспомнилось: «Да был ли мальчик?». Закрыв класс, ключи сдал и пошёл домой.

31 марта, понедельник, позже

Сидел на кухне. Уже давно не писал, просто сидел. Не думалось ничего. Пустота. Даже не расслышал, как мама с работы вернулась. Вздвогнул, когда она сказала:

– Привет, сынок. А тебе тут посылка. Представляешь, кто-то прямо на почтовый ящик, сверху положил. Написано – тебе. А вдруг бы кто взял? Хорошо, что я вовремя вернулась.

Она протянула мне что-то в обычной обёрточной бумаге с надписью «С. Тюленину». Я разорвал обёртку. Внутри оказался Софокл. Я открыл книгу. На форзаце простым карандашом было нацарапано куриной лапой: «А кассету я оставлю себе, ладно?». И строчкой ниже: «Матюля».

Я лениво перелистнул несколько страниц. Мёртвые буквы. Строчки в столбик. Ни рифмы, ни смысла, ничего. Пустота.

Я встал из-за стола, проскрежетавав табуреткиными ножками по полу. Взял книжку двумя пальцами. Подошёл к мойке, открыл дверцу под ней и бросил книжку в мусорное ведро.

– Что ты, сынок? Что-то случилось? – почти прошептала мама.

Я повернулся спиной к мойке, но на маму не посмотрел. Я почему-то не мог оторвать глаз от пола.

– Понимаешь, мамуля, – сказал я.

Почему я так её называл? Когда я в последний раз называл её так? Называл ли когда-нибудь? Может, это была маленькая месть за «сынка»? Я не знаю. Просто:

– Понимаешь, – сказал я, – мамуля... Очень не хочется вырасти пидорасом.

И сказав это, сумел таки отклеить взгляд от линолеума, и поднял голову, и хотел посмотреть в мамины глаза, но промахнулся и уставился в окно. Оказывается, уже совсем

* * *

На этом записи обрывались. Точнее, тетрадь просто закончилась. Я встал, подошёл к полке, пошарил по ней взглядом, перерыл остальные полки. Тетрадей больше не было. Да и существовали ли они когда-нибудь, другие тетради? Я не помню.

Через месяц Галка приехала на каникулы. Я хотел спросить у неё, но за все две недели, что она здесь провела, нам так и не выдалось случая нормально поговорить

Ронин³

*Буде же самурай не уберёжёт своего господина или лишится господского покровительства, его назовут **ронин**. И никто не признает за ним ни чести, ни достоинства. Один лишь позор будет отныне сопровождать его по глухим кривым окольным тропам бесславной жизни.*

Из записок Бертольда Фигмента, одного из первых европейцев, посетивших Японию в середине XVI века

Никакого другого имени у него быть не могло. Невысокий и худощавый, с чёрным ёжиком коротко стриженных волос. Азиатские глаза навсегда прищурились и уставились в недосягаемую даль. Нос – довольно тонкий для якута, а очки в тонкой проволоке оправы окончательно сделали его похожим на японца. Так выглядит лицо самурая, думали мы, насмотревшись фильмов в видеосалонах.

Всегда одет в костюм. Не в засаленный мышино-серый с отвисшими или залатанными локтями, как у других преподавателей, а в глубоко чёрный, безупречно отглаженный и без единой соринки на обшлагах и спине. Не говоря уж о перхоти на плечах – она просто немыслима. Его голова не умела производить перхоть, она служила совсем другим целям.

Костюмы хорошо сидели на его подтянутой фигуре, хотя спортсменом его бы никто не назвал. Скорее – офицером. Разумеется, японской армии.

Перемещался он стремительно и бесшумно. Гомонящую толпу студентов рассекал против течения, не задев никого даже краешком рукава. Он шагал, глядя в бесконечность перед собой, напевая губами одному ему известные гимны и ловко лавируя между нами, броуновскими частицами. И никогда не изменяя скорости движения, он всегда входил в аудиторию со звонком к началу пары.

Но имя своё он получил не только из-за внешности. Больше из-за безжалостности и хладнокровия. Предметы он вёл всегда самые трудные, самые абстрактные, где обычным языком ничего не расскажешь. Он и учил нас презирать обычные языки общения.

Первую лекцию вместо приветствия он начал так:

– Что это, по-вашему?

И ткнул пальцем в дверь, из которой материализовался секунду назад. Мы озадаченно молчали.

– Ну, что же вы? Не слышу вариантов. Что это? Наверное, вы скажете: «дверь». А я вам возражу: нет, это – «аан». Но если бы сюда вошёл сэр Исаак Ньютон, он бы заявил, что это вовсе – «the door».

Он замолчал, послушал тишину, заполнившую аудиторию.

– И вот что интересно. Все мы правы и не правы одновременно. Ведь мало сказать, что это – дверь-аан-door. Это ещё и конкретная дверь, сделанная из какой-нибудь дерево-стружечной плиты, покрытая какой-то там краской, с заедающим ржавым замком и нехорошим словом, нацарапанным на уровне моих глаз. И ещё тысяча деталей. Но даже описав в точности эту дверь, мы почти ничего не скажем об остальных дверях, которых в одном этом здании – сотни.

Перевёл дух и продолжил:

– Из этого следует, что ни один предмет, ни одно явление так называемого окружающего мира не может быть точно названо и описано средствами языка общения. «Окружающий мир» – это фикция, тысячи языков общения – жалкая попытка описать фикцию. Мы с вами

³ Рассказ публиковался в альманахе «Взмах-3» (издание Литературной мастерской Аствацатурова и Орехова, 2016) и в сборнике «Рукопожатие Кирпича и другие свидетельства о девяностых» (СПб.: Изд-во «Симпозиум», 2020)

будем учиться думать и разговаривать на одном-единственном точном языке, способном описать реальный мир, а не тот мираж, который маячит перед нашими глазами.

Он подошёл к доске, взял мел. Как рукоять меча взял, всеми пальцами обхватил, и написал на доске какую-то абракадабру. Смесь греческих и латинских букв, стрелочек и ещё каких-то неведомых значков. Бесшумно отскочил на пару шагов назад, не отрывая взгляда от доски. Он оценивал сделанное, как художник оценивает свои мазки на холсте.

Надо сказать – написано было потрясающе. Настоящая каллиграфия. Но ему что-то не понравилось. Быстро шагнул обратно к доске и подправил хвостик у буквы «р», сделал его чуть длиннее, а завиток чуть сильнее закрутил. Теперь остался доволен результатом, бросил мел на стол, повернулся к нам, схватился обеими руками за обшлага пиджака и провозгласил:

– Вот единственно точный язык, который не допускает каких-либо двойных толкований и недосказанностей. Все, кто знает наш язык, понимают эту запись совершенно одинаково. А запись абсолютно точно описывает кусочек мира. И не маленький кусочек, скажу вам по секрету.

Он помолчал немного, глядя в пустоту перед собой, потом воскликнул:

– Ну всё, хватит философии! Для неё у нас другой факультет предназначен. Кому про двери нравится размышлять – могут туда отправляться. А кто остаётся – давайте вместе опишем реальный мир.

Он вновь ринулся к доске, схватил мел и начал писать. Он не сказал больше ни слова, только стучал мелом по доске и выводил значок за значком с невероятной скоростью. Мы с трудом успевали записывать за ним. О том, чтобы обдумать и понять не могло быть и речи. Время от времени он бросал мел, отскакивал от доски, не отрывая от неё взгляда. Поглаживал пятернёй ёжик волос и засовывал руки в карманы. Стоял так секунду. Потом вновь бросался в бой.

К концу первой полупары он весь был в мелу, с головы до пят. Рубашка вылезла из брюк, узел галстука сполз набок. Глаза горели лихорадочным счастьем, на лбу сверкали капли пота.

Он выводил какую-то очередную сигму, когда прозвенел звонок. Не дописав буквы, бросил мел на стол и пулей вылетел из аудитории.

– По-моему, он просто псих, – сказал какой-то студент, сидевший справа от меня.

– Всё гораздо хуже, – возразил ему ещё кто-то. – Он маньяк. Серийный убийца студентов. Старшекурсники говорят: с его экзаменов пятьдесят процентов на пересдачу идут. Они его Ниндзей прозвали.

Так я узнал его имя.

Закончился перерыв и вновь в аудитории материализовался Ниндзя. Опять одновременно со звонком, но поразило нас не это, а его костюм. Десять минут назад костюм был расхристан и покрыт мелом, а теперь – будто заново сшит, ни пылинки на нём. Волосы приведены в порядок, лицо бесстрастно, галстук на месте.

Не говоря ни слова, Ниндзя взял мел, дописал свою сигму и двинулся дальше, вновь распаляясь всё больше и больше с каждым ударом мела по доске. К концу пары он опять имел плачевный вид, а у нас от усталости отнимались пальцы.

И так каждую неделю – полтора часа писанины, не прерываемой словами. Это называлось лекциями. А ещё были практические занятия, которые почему-то назывались семинарами. Ниндзя писал на доске условие задачи, а мы пытались её решить. Как правило, без его подсказок ни у кого ничего не получалось. Только у меня.

Уже на втором семинаре в моей голове щёлкнуло и я понял этот язык. Начал писать ответ у себя в тетради. Ниндзя как обычно бродил между нашими столами, заглядывал каждому через плечо и удручённо качал головой. У моего стола он задержался, хмыкнул и тихо сказал:

– У доски продолжите, пожалуйста.

Я вышел к доске, записал решение. Ниндзя стоял сбоку и следил, не отрываясь. Закончив, я сделал два шага назад, рассматривая написанное. И потянулся рукой к волосам, пригладить. Но вовремя себя одёрнул.

Ниндзя подошёл к доске и прописал несколько букв поотчётливее. У меня не было его каллиграфических способностей.

– Садитесь, – сказал Ниндзя. – Все поняли решение? – обратился он к остальным. Те, высунув языки, продолжали молча переписывать.

На следующей лекции меня попутал бес. Когда Ниндзя вернулся на вторую половину пары, весь отчищенный-наутюженный, я стоял у доски.

– Вы что-то хотели? – спросил он.

– Да. Мне кажется, вот здесь можно сказать яснее. – Я показал пальцем в написанное им на прошлой полупаре.

– Неужели? Так за чем же дело стало? Вперёд.

Я взял мел, начал писать. Поначалу выходило красиво. Но уже через пару минут я отползал, опозоренный, на своё место в аудитории. Ниндзя был беспощаден и разбил мои построения с ледяной жестокостью. И как я мог забыть про константы? Сквозь землю был готов провалиться.

Но после этого случая я стал первым студентом в истории, с которым Ниндзя здоровался в коридоре.

Мчится он, как обычно уставившись перед собой невидящим взглядом, шевеля губами, напевает свои гимны, рассекает волны студенческого потока. Вдруг каким-то неведомым органом чувств, каким-то внутренним радаром замечает меня в непосредственной близости, останавливается на мгновение и кивает приветственно. Уносится дальше.

Или протягивает руку, ловит меня за локоть, увлекает к ближайшему подоконнику и рассказывает очередной свой анекдот. Надо сказать, анекдоты у него не отличались разнообразием.

– Представьте себе, – говорил он, разглаживая на подоконнике листок бумаги. – Я их спрашиваю вот что...

Ниндзя быстро наносит на листок условие задачи.

– А она мне и отвечает...

Он записывает ответ какой-то студентки, а во мне растёт волна весёлого изумления. Ну как так можно? В ответе нет ни идеи, ни сюжета. Ответ многословен и косноязычен. Результат получается гораздо пространнее вопроса. А в нашем языке главное – на огромный вопрос дать очень короткий ответ. Так описывается реальный мир. Если краткого ответа не получается, значит, что-то пошло не так. Это же очевидно!

Я выхватываю ручку у Ниндзи, подчёркиваю самые вопиющие места в ответе неведомой мне студентки, перечёркиваю всю эту ахинею и начинаю писать свой вариант. Ниндзя внимательно смотрит, кивает головой, хлопает меня по плечу, оставляя меловой след.

– Именно так, мой друг, именно так.

И уносится вдаль. Так у меня скопилось пять-шесть его ручек.

Продолжалось это два года. А когда я перешёл на третий курс, вся привычная жизнь пошла вразнос. Великая держава поскрипывала, шатаясь на ветру перемен. Фрейд стал важнее Эйнштейна, Коши и Ферма, вместе взятых. Мы инфицировались свободой и рок-н-роллом, которыми обожаемый Запад переболел лет тридцать назад. Лекция по теоретической электродинамике легко превращалась в обсуждение романа Аксёнова или Айтматова. История КПСС и политэкономия вообще стали фарсом, их преподавателям не позавидовал бы и самый циничный мой одноклассник. Отовсюду доносились новые ароматы – денег, капитализма, предпринимательства. Мы стали задумываться о будущем. Оно перестало быть безоблачным и опре-

делённым. Я женился, у меня родилась дочь. Мне всё больше казалось, что занятия наукой в надвигающейся жизни не дают моей семье ясных перспектив.

Все политизировались и гуманизировались донельзя. Только на Ниндзю эти коловращения не оказали никакого влияния. Он продолжал заниматься проблемами сверхпроводимости при высоких температурах. Сложно даже представить, насколько изменится жизнь человечества, когда он добьётся результата. Но пока что результатом не пахло.

Поговаривали, что Ниндзя как-то раз съездил в отпуск, в Сочи. Там он познакомился с коллегой, которому пересказал пару своих идей. Удачливый коллега защитил докторскую. Ниндзя до сих пор не одолел даже кандидатской. И не берёт больше отпусков.

И вот пока всё кругом валилось и рассыпалось, Ниндзя ухватился за какую-то ниточку в своих изысканиях. Он резко сократил учебные часы, теперь только читал лекции. На семинары вместо него приходил какой-то бубнилка, которого называли Муму.

Муму не умел говорить на нашем с Ниндзей языке.

– Возьмём вот эту формулу, вспомним такую-то теорему, здесь сократим, а тут подставим... – бубнил он.

И вроде бы всё правильно, и ответ красивый, но – совсем не то. Мы с Ниндзей не так думаем и не так разговариваем. Я перестал ходить на его семинары. Впрочем, и лекциями манкировал. Отведённое на них время я проводил в одном кооперативе, пытаюсь обеспечить будущее.

И вот – январь, сессия, экзамен у Ниндзи. Я катастрофически не готов. Беру билет. Ниндзя приветливо кивает: давненько не виделись. Сажусь за стол в среднем ряду. Пытаюсь вспомнить, что прочёл в учебнике. Я его открыл впервые за пять дней до экзамена. Учебник взял потоньше. Вспоминаются только обрывки фраз. Внутри всё ноет от стыдной беспомощности. Минут через десять бросаю бесплодные попытки и начинаю наблюдать за Ниндзей.

У него на экзамене не принято поднимать руку (мол, готов) и идти отвечать. Он всегда решает сам, кому и когда. Раздав билеты, он пятнадцать минут сидит недвижно за своим столом. Как обычно, смотрит в никуда и шевелит губами. Потом бесшумно встаёт, берёт свою знаменитую табуреточку и начинает переходить от студента к студенту.

Сел Ниндзя на табуреточку перед тобой – будь добр, отвечай. Его не волнует степень твоей готовности. Его ничего не волнует. Он сидит и бесстрастно слушает. Первый вопрос билета. Достаточно. Второй вопрос. Хватит. Покажите решение задачи. Давайте зачётку. Вот и весь неколебимый сценарий его экзамена. Бери зачётку с оценкой и уматывай. Оспаривать смысла нет. Да и не перед кем. Ниндзя уже ухватил свою табуреточку и направился к следующей жертве.

Он «освободил» десятерых, когда подошла моя очередь. На его лице – лукавое уныние.

– Не могу больше слушать этот бред и бормотание. Надо передохнуть. Давайте с вами побеседуем.

Я втягиваю голову в плечи. Он не замечает, с улыбкой берёт мой билет.

– Первый вопрос.

Я начинаю выдавливать из себя те обрывки, что удалось вспомнить. Они, разумеется, в рассказ не складываются. Даже на уровне Муму. Поднимаю виноватые глаза на Ниндзю. Он ошеломлён и растерян.

– Что-то вы как-то... не очень готовы по первому пункту. Давайте ко второму вопросу перейдём. Что тут у нас? Интегральные уравнения Фредгольма? Прекрасно. Слушаю вас.

– Интегральные уравнения Фредгольма – это...

Всё, я больше не могу терпеть эту пытку. Замолкаю, набираюсь сил и смотрю Ниндзе прямо в глаза. И не узнаю его. Передо мной сидит старик, сгорбленные плечи. Его пальцы дрожат и бегают по столу, не находя себе применения. Глаза внимательно следят за руками,

бояться на меня посмотреть. Внезапно он вскакивает. Неаккуратно – табуреточка с грохотом падает. Он склоняется, поднимает её.

А когда распрямляется – это вновь Ниндзя, бесстрастный и хладнокровный. Он берёт мою зачётку, размашисто вписывает туда незаслуженный трояк, подхватывает табуреточку и бесшумно устремляется к соседнему ряду. Я беру зачётку и на ватных ногах выкатываюсь из аудитории.

Кое-как свалил сессию без пересдач. Ушёл на двухнедельные каникулы. Много думал. И принял решение.

В первый день нового семестра я нашёл в расписании, где он будет читать лекцию. Встал на полпути от его кафедры к аудитории. Ждал. Вот он, мчится на занятие. Сейчас заметит меня и кивнёт. Я скажу ему, что много думал и понял: для меня нет другого пути, кроме науки. Нет другого языка, кроме того, которому он меня научил. Я обязательно наверстаю то, что упустил за прошедшие полгода. Я мечтаю работать на его кафедре. Чтобы он был моим руководителем. Я забуду все эти кооперативы и фрейдов, я... Я делаю шаг навстречу и происходит то, чего никогда не бывало раньше. Ниндзя натывается на меня. Мягким извиняющимся жестом берёт меня за локоть, поднимает глаза:

– Извините, пожалуйста, – говорит он и начинает меня обходить.

Его глаза смотрят прямо в моё лицо, в них – беспокойство. Он пытается что-то вспомнить, но безуспешно. Ещё раз повторяет:

– Извините... – и уносится прочь.

И я понимаю, что это – не педагогический приём. Я на самом деле пропал с его радаров и больше там не появлюсь.

Так я узнал и своё имя: Ронин. Надо торопиться, пока я один его знаю.

В тот же день я пошёл в деканат и выхлопотал себе академический отпуск. Клятвенно обещал вернуться через год. В деканате поверили. Они ведь не знали, как меня теперь зовут.

Не моя смена

Из библиотеки я вышел, капитально нагруженный. Теперь, по задумке, нужно доставить это богатство домой, разложить на столе и с разбегу нырнуть в море новых знаний. Я так делал перед первыми тремя курсами и всегда был очень доволен результатом. Две недели до начала занятий лениво полистаешь учебники, не торопясь решишь десяток-другой задач, – вот уже и втянулся в процесс, в настоящую учёбу войдёшь легко, как нож в масло.

Но сегодня меня совершенно не тянуло к этому делу. И вообще, домой идти не хотелось. Покури́в на библиотечном крыльце, я направился в магазин, хоть сегодня и не моя смена.

Зашёл в общий вход, не в служебный. Через весь торговый зал уже размеилась очередь. С трудом угадал, что её голова – в отделе молочки. Очередь стояла покорно, негромко переговариваясь, скандалить не собиралась. «Профессура!» – любовно говорит наша завмаг, Людмила Степановна.

К ней как-то заходила подруга, тоже завмаг, но с другого конца города. Посидели они за рюмкой чая, поболтали о том, о сём. Пошли зал смотреть. В зале, как обычно, очередь. А то и не одна. Пойди, пойми, сколько их, если они всегда переплетаются, змеи эти, как в брачный период. В общем, зал полон народу и – почти полная тишина.

– Ничего себе! – говорит подруга. – А чего это они так тихо стоят? Друг на друга не орут, завмага не зовут, книгу жалоб не требуют?

– Так ведь контингент какой? Профессура! Орать и кулаками махать не приучена, – ответила Людмила, обводя материнским взглядом толпу.

– Да, повезло тебе. А у нас каждую неделю то витрину выставленную чинить приходится, то прилавок. А жалобная книга... премий за последний год не видели, в общем.

И то верно – завмагу нашему повезло. Вокруг магазина – несколько НИИ, да ещё и университет. В домах поблизости живут препода, кандидаты и доктора наук, СНС-ы да МНС-ы. Профессура, одним словом. Грех жаловаться.

Отпрашиваются у начальства с обеденного перерыва «на пару часов, в магазин по-быстрому сбежать». Приходят, находят хвост очереди, занимают. Кто-то встречает знакомых, начинает с ними лёгкий трёп. Другие достают из своих портфелей какое-нибудь «Знамя» или «Новый мир», пытаются из них узнать, как раньше люди жили и как им самим жить дальше.

Почти в самом хвосте очереди я увидел дядю Женю, уткнувшегося в свежую «Дружбу народов».

– Дядь Жень, привет. Вы тут чего раздобыть взлонамерились?

– Да вот, сыр обещают.

– Какой?

– Что значит, какой?

– Ну, «Российский» там, «Пошехонский», я не знаю... «Голландский», может.

– А! – просиял дядя Женя. – Вон ты о чём. Да кто ж его знает. Сыр, и всё. И потом, какая разница?

– И то верно. Отпускать не начали ещё?

– Нет, видишь ли... Говорят, до обеда завезли, но вот что-то всё никак не начнут.

– Ну ладно, вас понял. Разрешите исполнять?

– Да ну что ты, не стоит беспокоиться. Сейчас они, я думаю...

Я не стал выслушивать дядьженины гипотезы. Знаю эту кухню, поэтому уверен: что бы он ни думал, всё равно – мимо.

Прошёл за прилавки, толкнул дверь «Только для персонала». В лицо дохнуло смрадом магазинного закулисья. Поднялся на второй этаж, в грузчицкую. На лавке перед шкафчиками

валялся Лёха, глубокомысленно уставившись в потолок и отправляя вверх одно кольцо табачного дыма за другим.

– Трудишься? – спросил я, сгружая в свой шкафчик тяжеленную сумку с учебниками.

– Буквально горю на работе. Будем знакомы: Герой Комуности Чегокуда.

– Очень приятно. А там дядя Женья в очереди чалится. Сырку хочет.

– Классно. Передавай ему привет. Вот такой. Нет во-о-от такой. – Лёха развёл руки шире и чуть не грохнулся с лавки.

– Следи за собой, будь осторожен... – продекламировал я, выходя из раздевалки.

– Эй, чертила, ты «Ожог» -то дочитал? – крикнул мне Лёха вслед.

– А то!

– Ну, возвращайся тогда, обкашляем, – и Лёха отправил к потолку новое кольцо.

В разделочной подсобке я обнаружил Раюху и сразу понял, что сыра очередь дождётся нескоро. Раюха... лежала на лавке и пускала к потолку кольца табачного дыма, вот чем она занималась.

– Раюха, ты должна сделать Лёхе предложение. Я так думаю!

– О, Физик, привет! А ты чего припёрся? Сегодня же не твоя смена. И с каких таких мне Лёхе предложение делать?

– Мне кажется, из вас очень крепкая ячейка общества сложиться может. У вас много общего.

– Пусть обломается. Не для него этот цветок заколосился.

– Вот сейчас Людмила придёт и колосок-то твой пообтреплет. Там очередь уже из магазина торчит.

– Да пошла она в жопу, погремушка старая, – спокойно отреагировала Раюха. – А очередь сама дура. Сыра того – кот наплакал. Пять брусков.

Впрочем, Раюха встала-таки с лавки и направилась к разделочному столу.

– А по сколько в руки? – спросил я.

– По двести пятьдесят приказано.

– Ну вот видишь. Человек сто всё равно осчастливишь. А колоска на всех не хватит, тут ты права.

– Сам-то чего пришёл? Со мной поздороваться? Или отрезать тебе?

– С тобой поздороваться. Отрежь, конечно.

Раюха одним красивым и сильным движением ножа отделила от бруска кусок сыра, бросила на весы.

– Шестьсот. Хватит?

– Вполне. Спасибо, родная!

Раюха молниеносно завернула сыр в серую обёрточную бумагу, быстренько кинула на счётах и написала результат на обёртке. Я забрал сыр и повернулся уходить. На сумму не смотрел – кому это сейчас интересно?

– Девяносто семь, – крикнула мне вслед Раюха.

– Чего?

– Девяносто семь теперь осчастливилю. Ты за троих урвал.

– Вот такое я говно. Кстати, а что за сыр-то?

– В смысле?

– Ладно, плюнь, – сказал я и пошёл в зал.

Дядя Женья уже стоял далеко не в хвосте. Но и к голове ни на сантиметр не приблизился, конечно. За время моего пути змея смогла подрасти. Я вытащил его из очереди, сунул сыр в руки.

– Ой, да что ты! Совсем не нужно было! – завывал было дядя Женья. Потом спохватился и начал благодарить, звать в гости и желать успехов в надвигающемся учебном году.

Раньше мне это даже нравилось. Какая-то моя собственная значимость из-за всего этого проглядывала. Разные забавные истории происходили.

Пришёл я пару месяцев назад на экзамен по ОБТА с перевязанной ногой и костылём. Преподаватель так и взвился от сочувствия:

– Что случилось?

– Да вот, в магазине грузчиком подрабатываю, колбаса на ногу упала.

– И много колбасы?

– Восемьдесят три кило.

– Подумать только, восемьдесят три кило колбасы упало на ногу... – пробормотал этот гурман тензорного анализа.

И дальше совсем невнимательно слушал мои рассуждения о дивергенции векторного поля, всё думал о чём-то, шевелил губами и качал головой. А отдавая зачётку, уточнил:

– Пьяный, небось, был?

– Не без того, – подтвердил я.

Теперь такие истории и вечная благодарность профессуры за самую пустяковую помощь уже не вызывает у меня никаких эмоций. Так что отправил я дядю Женю в кассу и пошёл опять в грузчицкую.

Кроме Лёхи там уже сидел Петька. И не просто сидел, а и откупоривал.

С ним пить хорошо. В том смысле, что себя контролировать не надо. Петька всё контролирует так, что сам всё выжрет, а тебе только пригубить достанется.

– О! Физик! А ты чего припёрся? Сегодня ж не твоя смена, мы на тебя не рассчитывали! Да, Историк? – подмигнул он Лёхе.

– Не бубни, Петька. Наливай, а то уйду.

Дерябнули. Занюхали рукавами. Закурили.

Мы с Лёхой завязались про «Ожог». Ну что, тебе понравилось? Спрашиваешь! А тебе? Ну дак! А помнишь, как?... Так ещё бы!..

Петька переводил взгляд с меня на Лёху, явно заинтересованный.

– Это вы про что? Про книжку?

– Ага, аксёновский роман, «Ожог», не читал?

– Эх вы, студенты. Книжки, лекции, студентки... А у меня – как у латыша, член да душа, – горько заключил Петька.

– И выпил не в очередь, – констатировали мы с Лёхой в один голос.

Петька – очень славный, весёлый и добрый. Он всего лет на десять старше нас с Лёхой, а выглядит на все сорок. Рано остался сиротой, жил с бабушкой. Когда ему было шестнадцать, бабушка устала терпеть и сдала его в ЛТП, на лечение. Вылечить Петьку там не смогли, зато сумели отоварить подкованным сапогом по лицу, так что теперь один его глаз навечно весело и изумлённо распахнут и не двигается, как стеклянный. Петька всегда и очень искренне готов прийти на помощь, но все этой помощи избегают как огня: толку от него в любом деле – чуть, а вреда – бесконечность в потенциале.

– И что, толстая книга? – поинтересовался Петька.

– Ну как... Средняя. Страниц пятьсот.

– Ух, твою ж... – выдохнул Петька не очень вовремя, так что очередная стопка не в то горло вошла.

Постучали ему по спине, прокашлялся. Посидел несколько секунд, осмысливая, и сказал задумчиво:

– А я тоже один раз книжку читал.

Посидел молча, убедился, что заинтриговал, и продолжил неторопливо:

– Меня сестра к себе на ужин позвала. У неё ж всё нормально: дом, муж, дочка. Не то, что у меня, латыша... Ну вот. Я после работы в душ сходил, расчесался, галстук надел. Такой,

на резиночке. Пришёл к ней. Вовремя причём. А я тогда не знал, что в гости не надо вовремя приходить. Ещё не готово, надо подождать пятнадцать минут, ты вот сюда проходи, сюда садись, я сейчас... И усвистала на кухню. Ну сел, сижу. В галстук, как чудак. Смотрю – книжек целый шкаф. Дай, думаю, попробую. Взял первую попавшуюся. Викентий Вересаев. Ну и имечко, думаю. Значит – классика, надо читать. Читал, читал, читал, читал, читал, читал...

Петька замолчал, вылил остатки себе в стопку, опрокинул, выдохнул.

– ...читал, читал... Три страницы прочитал! Думаю: «да что ж ты, мать твою в гроб!». Перелистал всю книжку: ни одной картинки! Плюнул, поставил её на место, а тут уж сестра за стол позвала. Посидели нормально, выпили. Потом уже не читал никогда. Сестра больше в гости не звала, да и вообще, не было случая.

– Зря ты, Петька, – заявил Лёха. – Ты всё-таки попробуй ещё. Не Вересаева, поинтереснее что-нибудь найди. Одну книжку прочтёшь, другую, и...

– Что «и»? Ну что «и», Лёха? – вдруг вскинулся я. – Что будет? Вот мы с тобой прочитали Аксёнова, обкончались все, и что с того? Что изменилось?

– Ну как что, – растерялся Лёха. – Что-то новое о мире узнали, поняли какие-то вещи, по-другому на людей взглянули, на страну, в конце концов.

– Да? Ну вот посмотрел ты на мир глазами Аксёнова. И что? Мир лучше стал, страна изменилась? Или ты понял, как её изменить? Понял, как самому измениться, чтобы настоящим стать? Да ни хера подобного. Просто ты узнал, что у цвета говна больше оттенков, чем ты раньше думал, вот и всё твоё открытие. Как и моё, конечно. И как мы своё открытие будем в светлое будущее преобразовывать, какими трансформаторами?

Лёха насупился, Петька встревоженно смотрел на нас, не зная, чем помочь. Он не любил и боялся любого шума и суеты. Особенно, если не понимал, чем они вызваны.

– Физик наш с недотрахи сегодня, похоже, – попытался Петька разрядить ситуацию, – Ты его, Историк, не замай. И вообще, хорош вам тут выяснять. Давайте-ка лучше...

Петька потянулся к своему шкафчику, достал ещё одну, сорвал пробку натренированным ногтем.

– Давай, Физик, ещё по маленькой?

– Не, Петро, я больше не хочу. Вы давайте уж сами. А я пойду, по магазину пройду. Узнаю, какие новости. Прости, Лёх. Чего-то я правда сегодня... Не того...

– Говорю же: с недотрахи! – радостно провозгласил Петька, будто имел хотя бы малейшее понятие об этом вопросе.

Я пошёл в мясницкую. Перед плахой стоял Филька, задумчиво опершись руками и подбородком на гигантское топорщице. Именно такими топорами сносили головы с плеч, я уверен. Рядом на полу валялась говяжья полутуша. Филька, семидесятилетний якут, мог стоять так очень долго. Сам он с полутушей не управится, но и помощи просить не приучен. Его кредо: вот станет невтерпёж, тогда и поработаем.

Мясо привозят почему-то по ночам. Обычно – говядину, полутушами. Иногда – новозеландских баранов, целиком завёрнутых в целлофан. Никогда – наших родных якутских оленей, не говоря уж о сохатых. Говорят, олени идут на экспорт. Говорят – в Голландию. Знают, козь говорят.

Я ухватил полутушу крюком за шею, втащил на плаху.

– О, Физик, привет. А ты чего тут? Сегодня ж не твоя смена, – разлепил глаза Филька, почувствовав движение рядом.

Ответа дожидаться не стал. Коротко хекнув, всадил топор в позвоночник покойной животного. Потом ещё раз, и ещё. Полутуша развалилась пополам. Я поворачивал куски так и эдак, а Филька садил топором, с полуприкрытыми глазами. В итоге мясо было поделено. Это пойдёт в зал, на талоны профессуре, а вот то останется здесь, своим. Дальше Филька начал управляться сам. Он укладывал очередной шмат мяса на плаху и быстрыми точными движениями

отсекал от него килограммовые куски. Можно было не взвешивать, в каждом – по килограмму, месячная норма в лицо. Ну, плюс-минус, конечно, но очень небольшой.

– Мастер ты, Филька, – в сотый раз восхитился я.

– Да чего там, – снисходительно отозвался он. – Постой тут с моё, тоже научишься.

– Не, я уж как-нибудь обойдусь без этой науки. Не знаешь, Филь, чего в магазине нового?

Филька задумался, опять облокотившись на топор и закрыв глаза. Стоял долго. Я уж подумал: всё, опять уснул. Но нет, подал голос:

– А ничего нового, по старому всё.

– Ну ладно, бывай тогда, – я направился было прочь.

– А, вспомнил! В овощной кедровые шишки завезли.

– Ни фиги себе! Что-то я не припомню, чтоб раньше завозили. Надо брать.

– Ага, – согласился Филька. – Надо.

Овощной ларёк стоял отдельно от магазина. Когда я вошёл, Галка скучала в одиночестве: напарница на больничном, а покупатели в очередь за гнилой морковкой не выстраивались. Поэтому мне она обрадовалась довольно искренне.

– Здорово, Физик! Какими судьбами? Сегодня ж не твоя смена.

– Да вот, решил проводить лучшую подругу. Чего тут у тебя нового?

Галка обвела руками вокруг себя:

– Да откуда тут новому взяться?

– Филька сказал, вам кедровые шишки завезли.

– Чего-о-о? – изумилась Галка. – Филька остатки башки пропил наконец-то? Ну, поищи, может найдёшь.

А действительно, чего тут нового можно найти? Ящик с луковой шелухой. Немного сморщенной морковки в другом ящике. Попахивающая проросшая картошка. Бочка с ядрёно просоленными огурцами, с плёнкой хорошей плесени на рассоле. Несколько ящиков с ананасами в углу. Их в последнее время прут из Вьетнама. И стоят они дешевле картошки. Говорят, так получилось, потому что ананасы на гвозди выменивают. Знают, раз говорят.

Стоп. Ананасы!

Я начинаю хихикать, а потом и ржать в голос. Галка сначала не понимает, смотрит на меня, потом переводит взгляд в угол, на ананасы, и тоже смеётся:

– Так вот ты какой, филькин кедр!

– Филькина шишка, – уже почти взвизгиваю я.

Тут в окошко просовывается профессорская голова, просит «наскрести нормальной картошечки хоть на супчик». Галка суставом мизинца аккуратно вытирает слёзы из уголков глаз, чтобы не потекли «стрелки», склоняется над ящиком с картофельными ростками.

Я ухожу из овощного, возвращаюсь в магазин, выхожу на эстакаду. Мне в спину кричит Людмила Степановна:

– Физик, ты чего тут? Сегодня же не твоя смена. Сходи в грузчицкую, позови этих охломонов. Сейчас молочка придёт, пусть разгрузят.

– Ага, – не двигаюсь я с места, а сам думаю: «Да какой я вам физик!..»

Вижу, как к эстакаде бежит Лёха. Домой, видимо, успел сгонять, за какой-то надобностью. Шибко бежит, перед самой эстакадой споткнулся и чуть не влетел под швартующийся фургон с молочкой. Я протянул ему руку, помог забраться наверх.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.